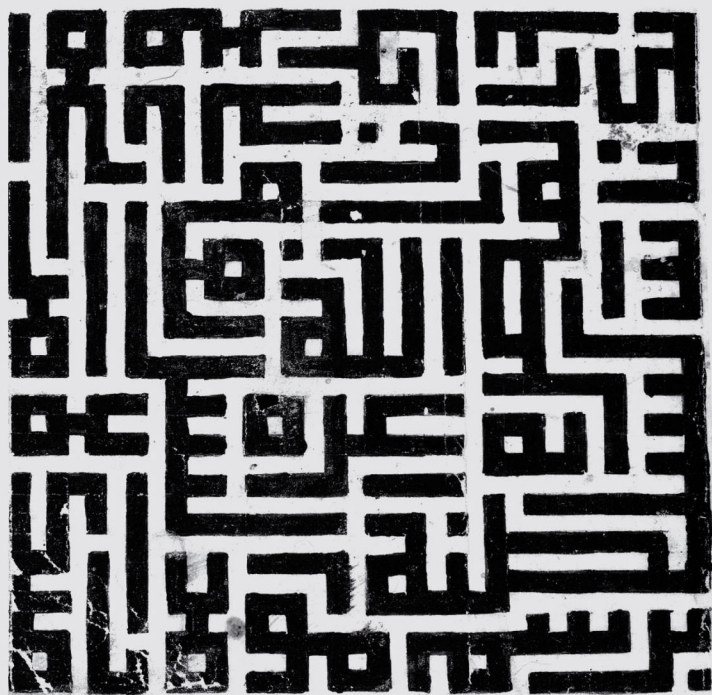


ЧЕТКИ

4

2009

ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКИЙ ЖУРНАЛ



Надер Эбрахими. Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого • Али Реза (Антон Савин). Учитель • Ренат Беккин. Смерть аспиранта • Поэты Саудовской Аравии • Николай Добронравин. Проповедь и политическая пропаганда в мусульманской Африке • Павел Башарин. Гоголь как историк «мусульманства» • Максим Медоваров. Гоголь, христианство и ислам: в центре коллизий • Андрей Рошектаев. Гоголь и православие • Юрий Манн. Статья Гоголя Ал-Мамун • Ильдар Мухамеджанов. Звезда и смерть Валиахмета Садура • Валиахмет Сакур. Восприятие текстов в разных культурах • Анастасия Ежова. Ислам – религия пассионарного взрыва или бесстрастного покоя? (Рецензия на роман Ильдара Абузязрова «Хуш»)

ЧѐТКИ



Редакция журнала
Главный редактор:
Беккин Ренат Ирикович
Заведующий отделом литературы
стран Зарубежного Востока:
Баширин Павел Викторович
Выпускающий редактор:
Мусина Камалия Рифатовна
Редактор:
Мастюгина Татьяна Мстиславовна
Корректор:
Конькова Александра Александровна
Дизайн: *Кагаров Эркин Медатович*
Верстка: *Самсонов Игорь Васильевич*

Идея Льва Николаевича Толстого

Учредитель и издатель:
ООО «Издательский дом Марджани»

Адрес редакции:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 69.
Тел.: +7(495) 234-04-79
e-mail: chetky@mardjani.ru
www.mardjani.ru

Интернет-версия: www.chetky.ru

Журнал «Четки» зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций, связи и охране
культурного наследия.
Свидетельство ПИ № ФС77-28954

ISSN 2070-2205

Редакция не предоставляет справочной
информации и не несет ответственности
за достоверность информации, опубликованной
в рекламных объявлениях. Рекламуемые
товары и услуги подлежат обязательной
сертификации. Перепечатка материалов,
опубликованных в журнале «Четки», а также
на сайте www.chetky.ru, допускается только
с письменного разрешения редакции.

Продажа по подписке.
Тираж: 1000 экз.
Цена свободная.

Отпечатано в типографии ООО «Издательство
“Проспект”» (Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1)

© ООО «Издательский дом Марджани»

В номере использованы фотографии
изделий из глазурованной керамики
Ирана и Средней Азии XI–XVII вв.
Обложка, 1-я стр. Каллиграфическая
композиция «Альхамд», бумага, тушь.
Тардан Горчу, г. Баку, 1991 г.
© Suleiman Collection

Содержание

4 От редакции

5 Пища сердец

- 6 *Надер Эбрахими.* Три взгляда на человека,
пришедшего из неведомого (роман)
Перевод с персидского А. Андриюшкина, В. Богданова,
Ю. Митенковой, Е. Морозовой, Н. Федоренко
30 *Фархот Абдуллаев.* Сотера Мегаса (повесть)

51 Толкователь страстей

- 52 *Юлия Мельникова.* Башня Сююмбике
79 *Дмитрий Иценко.* Отец (рассказ)

86 Беседа птиц

- 87 *Алия Каримова.* Стихи (на татарском)

96 Чудеса стран

- 97 *Борис Сыромятников.* Россия, Восток и Запад глазами
«Сигмы». Часть II

112 Ниша света

- 113 К 10-летию журнала «Мусульмане»
114 *Галина Хизриева.* Что это было?

115 Язык невидимого

- 116 *Анастасия Ежова.* Движение «Мурабитун»: вероучение и социальная доктрина
132 «Мы не фашисты, мы — суфии». Интервью с лидером движения «Мурабитун» в России Харуном Сидоровым

140 Дуновение дружбы

- 141 *Али Мухиэддин.* Перо павлина (сказка)



ОТ РЕДАКЦИИ

Драгоценный читатель!

В этом году Иран празднует 30-летие Исламской революции. В отечественной прессе появилось немало материалов, приуроченных к этому событию. Безусловно, центральной фигурой в этих публикациях стала фигура лидера революции Рухоллы Хомейни. Имама Хомейни принято изображать суровым старцем, непримиримым, даже жестоким борцом со своими идеологическими противниками. Тем, кто знает Хомейни лишь таким, полезно будет прочитать роман иранского писателя Надера Эбрахими «Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого».

О том, как идеи зороастризма находят воплощение в творчестве таджикской интеллигенции, можно узнать из провокационной повести режиссера и писателя Фархота Абдуллаева «Сотера Мегаса».

Смена вероисповедания всегда живо волновала представителей разных религий. Повесть Юлии Мельниковой «Баиня Сюзумбике» рассказывает о приходе в ислам русского юноши из Казани. Что побуждает христианина стать мусульманином? Книги или люди?

В этом номере «Чётки» мы предлагаем вторую часть трилогии Бориса Сыромятникова, посвященной путешествию его предка С.Н. Сыромятникова (Сигмы) в регион Персидского залива на рубеже XIX и XX столетий. Данный материал может быть интересен разведчикам или тем, кто хочет ими стать.

Мы продолжаем рассказывать о жизни мусульман России. Очередной материал русской мусульманки Фатимы (Анастасии) Ежовой посвящен движению «Мурабитун». Автор характеризует его как крайне правое движение фашистского толка. Ежовой возражает другой русский мусульманин — лидер движения «Мурабитун» в России Харун (Вадим) Сидоров в статье с говорящим названием «Мы не фашисты, мы — суфьи».

10-летию журнала «Мусульмане», ставшего в свое время первым рупором мусульманских интеллектуалов России, посвящена статья Галины Хизриевой «Что это было?». После ее прочтения нам остается лишь уповать на Всевышнего, что автор будет столь же благосклонна к журналу «Чётки», когда нам тоже исполнится десять лет.

Главный редактор

Пицца сердцец



ТРИ ВЗГЛЯДА НА ЧЕЛОВЕКА, ПРИШЕДШЕГО ИЗ НЕВЕДОМОГО

Надер Эбрахими*

Перевод с персидского А. Андриюшкина, В. Богданова,
Ю. Митенковой, Е. Морозовой, Н. Федоренко

ТОМ ПЕРВЫЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОРНЯМ

Иран — это божественное существо, которое несут на себе ангелы.

Имам Хомейни

Я пишу роман, а не исторический труд — таковых уже написано, будет написано и пишется много. Но роман создаешь всегда однажды, только однажды...

Иными словами, это произведение не для тех, кого интересует хроника, оно для тех, кому нужна истина. Человеческая истина — вот о чем эта книга. А тех, кому нужны факты, я отсылаю к историческим монографиям.

Надер Эбрахими

Здесь,
перед вами, правоверные мужчины и женщины Ирана,
горячо любящие свою родину и желающие ей могущества и процветания,
всем, что для меня свято, я клянусь:

все, мною сказанное в этой книге, есть правда и ничего кроме правды;
полуправды, которая могла бы исказить и опровергнуть остальную правду, здесь нет;

и я готов в случае, если хоть одно лживое слово — вольно или невольно — вышло из-под моего пера,
этот непростительный грех, совершенный моим пером, а также рухнувший авторитет моих писаний

я готов искупить, приняв без единого стона самую страшную кару.

* Нادر Эбрахими (1936–2008) — крупнейший прозаик современного Ирана, получивший известность еще до Исламской революции 1978–1979 гг. Автор сборников повестей и рассказов, романа «На все руки мастер», в последние годы Надер Эбрахими трудился над эпопеей о Хомейни «Три взгляда на человека, пришедшего из неведомого». В Иране напечатано пока два тома этого повествования, жанр которого определить весьма трудно. «Три взгляда» — это три дискурса или три прозаических пласта, один из которых повествует о Хомейни-человеке, другой — о Хомейни-политике, и третий содержит умозрительно-символические рассуждения. Разграничения эти, впрочем, весьма условны...

Этот труд я низжайше преподношу народу, который хорошо знает искусство совершенства революций и который взвалил на плечи бремя величайшей революции истории... и тем, кто начал беспрецедентную войну против всего мира во имя веры и Ирана и оставил в наследство потомкам вечную славу, а народу — традицию, полную доблести... и великой, отважной и многотерпеливой женщине — благочестивой жене такого мужчины, каким был Рухолла Хомейни, его спутнице в наитруднейшем путешествии — жизни, полной лишений и мук тюрьмы, пыток, ссылок и смерти.

1. ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ: НА ЧЕЛОВЕКА, ПРИШЕДШЕГО ИЗ НЕВЕДОМОГО

Странно: рыбаки во время бури, во время проливного дождя не смотрят из окон своих хижин на море, таково действие доведенной до конца усталости. А ведь прекрасен ливень, что обрушивается на землю потоки воды, прекрасно бушующее море, грозное и безжалостное, и смятение птиц над бушующим морем тоже прекрасно...

...Дождь — это божественное послание, и буря, и волнение буревестников. Вам, равнодушным к ним, чужды и Бог, и Красота!

...Рыбаки, услышав эти слова, вскричали: нет! Не в этом дело! Просто море — у нас в крови и у нас в душе. Оно есть в каждом проявлении нашего мира: и в дожде, и в грозе. И крик буревестника, и даже разбитые лодки — для нас все то же море и не что иное; и созерцать его из окна убогой хижины — ниже достоинства людей, у которых море — в душе.

...Я сказал: созерцать шторм даже сквозь какую-нибудь щель в то время, как вы не находитесь среди волн, — означает быть с ним связанным...

...Они в один голос ответили: пусть этим занимаются поэты, что воспевают близорукий восторг опьянения! Выдумать связь с чем-то — еще не значит, действительно ее иметь; мы же — мы столько дней провели в когтях ненастья, в схватке с бурями...

И если бы мы вознамерились помечтать о чем-то, этим мы не заставили бы бурю утихнуть и не помешали бы ей расшвырять нас в разные стороны, как морских птиц...

Итак, желая порвать всякие отношения с людьми моего времени, я выбрал соседство мятежных волн — купил хижину, окна которой покрывала застарелая грязь...

И, поскольку хижина теперь принадлежала мне, первое, что мне следовало сделать, это стереть вековую пыль с поверхности стекол.

Я взял влажную тряпку, таз с теплой водой и острое лезвие и принялся за чистку давно утративших прозрачность стекол; и сквозь эти убогие проемы я глядел на бушующее и клокочущее, такое любимое море...

И вдруг я увидел, как из глубины появляется и идет по воде человек — подобно героям забытых преданий, подобно Иисусу Христу, Мансуру Халладжу¹, подобно нашему нынешнему вождю, которого хранит Господь и которого Он однажды призовет к Себе...

И я сказал: да будет благословен этот новообретенный источник, что несет влагу увядшему саду моих надежд, предвещая конец долгим зимам, зовя приход вечной весны!

¹ Знаменитый суфий.

Человек, пришедший из моря, был стар, но более могучего я не встречал: крепкое тело, сутулые, но мощные плечи и взгляд — о, Господь мой! — взгляд, который побеждает и подчиняет...

Он с силой постучал в дверь моей хижины и вошел. Яркий свет ослепил меня. И сказал он:

— Я не люблю тех жалких людей, что в довольстве смотрят на мир сквозь щели своих домов. Это малодушие, клянусь своими глазами, клянусь тем, что вижу, клянусь своей способностью видеть! Но еще больше ненавижу я саму суть довольства малым и тех, умеренных, довольствующихся тем, что имеется, — которые есть презреннейшие люди нашего времени, ибо ныне умеренность означает то же самое, что не дать вдоль напиться лошади, которая прошла долгий путь к водопою.

Я ответил:

— О, ты, хотящий многого! Да будет твой приход добрым! Как явление твое чудесно и невероятно, так и мысли у тебя не такие, как у всех! Однако я не раз был свидетелем того, как лошадь, напившись после продолжительной жажды, околевала на месте с распухшим от алчности брюхом и с тоской по степному пути в глазах.

Он сказал:

— Я видел, как лошадям прививали умеренность в утолении жажды, не давая им и десятой доли того количества воды, в котором они нуждаются; и лошади оставались вполне довольны и продолжали свой путь по степи, не получая ни клочка той травы, что покрывала летнюю степь зеленым цветущим ковром.

Как часто умеренность тождественна трусости! — если мы не требуем всего того, что нам причитается; а причитается человеку в этом мире немало. Всякий накрытый стол на земле — это подарок Господа человеку. Бог сотворил человека и дал ему право брать от изобилия земли столько, насколько велики его «дела, вера и любовь»; и не зарывать кусок в землю, подобно собаке.

— Ты велик, это не подлежит сомнению; но другие, тоже великие, прежде тебя учили нас иначе.

Он воскликнул:

— Но придерживались ли они сами правил умеренности, поучая людей своими пустыми речами?

Запомните, что я не учу алчности по отношению к суетному и священному, я проповедую отвращение к умеренности и довольству малым, и до меня тоже были люди, учившие тому же. Но человек, пестующий свое малодушие, истолковывает по своему хотению слова, сказанные великими, и это воистину — мировое бедствие.

В этот момент я вдруг осознал, что этот человек, Человек-пришедший-из-моря, явился, чтобы разрушать; и я подумал, что мне суждено стать его первым последователем; и почетное звание единственного последователя, возможно, соответствует величю идеала, потому что придает смысл этому идеалу как таковому. Человек-пришедший-из-моря вдруг повернулся ко мне и вперил в меня свой повелительный взгляд, испытывая меня огнем своих глаз, а затем сказал:

— Нет... Если есть лишь один последователь, значит, идеал ничтожен; это значит, что мы никогда не достигнем и подножия той вершины, к которой стремимся. Что же касается меня — мне либо вообще не нужны последователи, либо мне нужно, чтобы весь народ пошел за мной, весь народ. Волю же тех, кто, как собака, зарывает кусок в землю и дрожит над ним, — я презираю.

О, человек! Знай, что у сребролюбцев нет родины, и нет у стяжателей ни народа, ни нации.

Корысть — вот единственно подлинная родина сребролюбцев, и где выгода больше — там и больше чувств к родине.

Вслед за тем Человек-пришедший-из-моря измазал грязью одно из окон и сказал:

— Юноша! Забудь про стены и преграды, открой глаза! Запомни: умеренность есть малодушие, даже умеренность в созерцании красот мироздания, даже умеренность в богопочитании. Ты забываешь об этом, а ведь вся твоя жизнь должна протекать в поклонении: и развлекаясь, ты должен славить Бога; и созерцая, ты должен славить Бога; и во время еды, и во время раздумий; и в пути — ты всегда должен помнить о Боге. Вот чему я хочу учить. Для того чтобы учить этому людей, я и пришел.

Я ответил:

— О, господин! Я не так велик, как ты. Сделай меня своим учеником, начни с меня — такие, как я, просто так учениками не становятся. Я готов хоть сейчас, взяв кусок хлеба и бутылку с водой, последовать за тобою.

И очень скоро у тебя будет целая толпа последователей, среди которых я затеряюсь.

И эта забота — чтобы раствориться однажды в великом множестве твоих последователей, подобно капле в море, подобно пылинке в воздухе, — отныне будет моей заботой; отныне я хочу посвятить себя тому, чтобы сдерживать напор толпы восторженных учеников до тех пор, пока я не забуду твой светлый образ.

Я хочу просто изменить этот мир, а не занимать высокое место в изменившемся мире.

Я воспитывался для того, чтобы быть солдатом, а не полководцем.

Человек-с-огнем-в-глазах раскрыл дверь моей — что уже перестала быть моей — хижины и сказал:

— Мы начинаем трудный и мучительный путь...

2. ВЗГЛЯД ВТОРОЙ: НИ КРУПИЦЫ БЫЛОГО НЕ ЗАТЕРЯЕТСЯ

Сахибе-бану крикнула с порога комнаты:

— Рухолла!

Рухолла, хмурый и насупленный, послушно подбежал.

— В чем дело, мой мальчик, что случилось?

— Тетушка, тетюшка! Абдаллах обижает Джавада!

— Ничего страшного, мой мальчик. Пусть Джавад не спускает ему этого.

— Это невозможно. Абдаллах бьет Джавада, сильно бьет.

— Ну пусть Джавад даст сдачи. И сильно бить, и несильно бить — одинаково плохо, если только ты не делаешь это, чтобы постоять за себя, — тогда драться хоть и тоже нехорошо, но необходимо. Что же, Джавад хочет поколотить Абдаллаха?

— Нет, и не думает. Он совсем не драчун.

— Тогда ему придется защищаться. Вот так.

— Но он не сможет, тетюшка! Джавад — маленький и хилый, и он младше Абдаллаха.

— Тогда не позволяй Абдаллаху бить Джавада! Или ты тоже младше, тоже маленький, худенький и слабенький? Так?

Рухолла не знал, что ответить. Он считал себя сильным, но драться не любил. До сих пор он никогда не враждовал с Абдаллахом.

Нураддина не было дома, а Муртаза сидел, опустив голову, и молчал. Он был на семь лет старше Рухи, но не любил совать нос в чужие дела, если его не просят.

Рухолла глядел в окно: из окна верхнего этажа был виден дальний конец сада, где Абдаллах только что поколотил Джавада.

Сахибе-бану громко сказала:

— Отвечай!

— Я ни разу не дрался с Абдаллахом и не знаю, кто из нас сильнее.

— Так проверь! Прямо сейчас! В конце концов однажды тебе придется это сделать. Однажды ты должен будешь заступиться за слабого Джавада. Должен? Так иди же туда снова. Иди к Абдаллаху и Джаваду и проверь, кто сильнее. Мы все будем тебя ждать и не сядем без тебя за стол, даже если ты не вернешься до вечера. Биби-Хавар! Убери все со стола, и, с согласия Хаджер-ханум, пусть все до возвращения Рухоллы остаются голодными! Пусть вся ответственность будет на мне! Рухолла! Если, защищая Джавада, — запомни: защищая Джавада, — ты вступишь в драку и окажешься слабее, то я, с разрешения Хаджер-ханум, пошлю тебя туда, где тебя научат, как нужно противостоять Абдаллаху и таким, как он. Хаджер-ханум вынесет разлуку с тобой, и другие — тоже. Чем скорее, тем лучше, ведь лишённые опеки отцов не лишены опеки Бога. Или лишены?

— Нет, не лишены, тетя.

— И помни, что Бог всегда будет тебе помогать и поддерживать тебя; Он — это сердце в твоей груди, это ружье в твоих руках, это сила твоего духа. Понимаешь?

— Как же не понять, тетушка? Разве можно этого не понять? Может, раньше это было и трудно, но сейчас уже нет. И раньше, когда все было нелегко, ты, словно отец, сидела рядом со мной, и я мог положить голову тебе на колени и поплакать.

— Плакал ты, когда был маленький, теперь же доверься Всевышнему и смейся... Смейся, пока можешь смеяться.

Биби-Хавар тихо проговорила: «Господи, Боже мой!..»

Хаджер-ханум сказала:

— Иди, мой мальчик... Иди, пока они не ушли, сделай то, о чем тебе говорила твоя тетя.

Муртаза заулыбался, радуясь, что мать согласилась с тетей. Он всегда был рад этому.

Нураддина все еще не было, иначе он бы накричал на Рухоллу, чтобы он пошевеливался, а не стоял на месте.

Рухолла уже не глядел в окно; не глядел он и на тетю: он знал, что в ласковом, но твердом взгляде ее глаз он не увидит и намека на снисхождение.

Не смотрел он ни на мать, ни на биби-Хавар, поскольку чувствовал, какой жалостью горят их глаза.

Муртаза и подавно не интересовал его — он знал, что кроткий взгляд Муртазы не выражает ничего, кроме покорности.

Нураддина не было, иначе в его бешеном взгляде сейчас бы горела зависть к почетной миссии Рухоллы, который был младшим ребенком в семье.

Рухи хорошо знал своих братьев и сестер: хватит с них того, что они не ревут. Тетушка не носилась так с ними, хотя очень их любила; но Рухолла — совсем другое дело...

Он вообще не должен был жалеть Джавада, или же, раз уж ему стало его жаль, нужно было сразу заступиться за него. Говорить же об этом тетушке не было необходимости — это он давно понял.

Возможно, в глубине души он надеялся, что ответственность за все тетушка возьмет на себя.

Теперь же сад словно ждал его: его ждала та яблоня, под которой сидел и плакал Джавад, уткнувшись в колени; ждал тот старый кипарис, под которым, возможно,

стоял Абдаллах с усмешкой тирана на лице; ждал тот розовый куст, аромат которого наполнял воздух сада; и тот ручеек, что неслышно бежал меж деревьев и, протекая под оградой, проникал в этот сад, который воистину был «садом садов» — по крайней мере, его так называли.

И вороны словно ждали чего-то: они ждали кровавого пиршества.

И старая, больная кошка тоже ждала — ждала начала битвы.

И сам сад ждал — ждал ребенка, которого сиротская доля научила, когда это необходимо и когда этого требует сердце, ребенком не быть.

И ветер, что гулял по старому саду городка Хомейна, возможно, ждал того момента, когда можно будет разнести по городам и весям радостную весть: есть ребенок, способный встать на защиту слабого, или который скоро научится этому.

Рухолла медленно повернулся, и, поворачиваясь, он остановил взгляд на двух ружьях, что висели на стене, царя над хаосом ламп, подсвечников, канделябров и абажуров. Два ружья — память об отце, о котором Рухолла не имел никаких воспоминаний, но которого часто видел во сне, — висели со сдвинутыми вместе жерлами и расходящимися в разные стороны прикладами, как будто два человека собрались расстрелять друг друга в упор.

(Мать часто рассказывала, что отца застрелили с расстояния в один шаг. Пули разорвали сердце в клочья. И на одном из ружей виднелась кроваво-красная отметина.

«Это правда, няня, это правда?»

«Раз Хаджер-ханум говорит, значит, так и есть, мой мальчик. Меня тогда еще не было в вашем доме — я поселилась здесь, чтобы кормить вас грудью».

«У моей матери разве не было своего молока?»

«Было, господин Рухолла. Но, как только она узнала о гибели господина сейида Мустафы, вашего отца, оно пропало, и вы остались без молока».

«Няня, разве у тебя не было своих детей?»

«Я поселилась у вас на четвертый день после того, как они пали от рук мятежников, господин Рухолла!»)

Под ружьями были симметрично размещены две пороховницы и две сумки со свинцом, а еще ниже от приклада одного ружья к прикладу другого протянулся шомпол.

(«Отец пользовался ружьями только на охоте или для защиты от мятежников во время их нападений на крепость и на дома жителей Хомейна. Охотился же он только зимой — на антилопу, или горного барана, или же, порой, на горную куропатку, или рябчика».

«Отец ваш не стрелял в куропатку, пока она сидела на земле и клевала зерна, и с рябчиками он поступал так же».

«Кербелан Камбар, мой отец хорошо стрелял?»

«Хорошо? Да в этом деле ему не было равных! Однажды я пошел вместе с ним и увидел, как, вспугнув птиц, он дождался, когда они взлетят, а затем медленно и хладнокровно поднял ружье и прицелился. Я взглянул вверх и увидел, что птицы улетают все дальше и дальше. Еще немного, и они должны были скрыться за вершиной холма. Шансы на то, чтобы настичь их выстрелом, уменьшались с каждой минутой. Господин Мустафа охотился воистину не как все, по-особенному! Я направил взгляд на спусковой крючок и лежащий на нем указательный палец господина Мустафы, и в следующий момент прогремел выстрел. Я вскинул голову и увидел, как одна из птиц сложила крылья и камнем упала вниз, остальные же подняли невообразимый крик. Я хотел было броситься за добычей, но господин Мустафа скомандовал:

— Назад! Сто раз говорил тебе, чтоб не лез под дуло! Все время держись чуть сзади!

Я остановился, чтобы пропустить господина Мустафу вперед. Мы подошли к раненой куропатке, господин Мустафа опустился на землю, достал свой охотничий нож, повернулся лицом по направлению к Кибле и, взяв птицу, отрезал ей голову.

— Если убитая дичь кровоточит, значит, она чиста. Тогда не обязательно поворачиваться к Кибле, чтобы перерезать ей глотку, — даже если дичь давно мертва.

— Тогда почему же вы смотрели на Киблу, отрезая голову окровавленной птице?

— Так мне спокойнее. Для меня многие заповеди шариата стали обязательными. Ведь соблюсти их лишней раз не стоит труда, правда? Это очень полезно, поскольку напоминает человеку о Кибле, о намазе и о многом другом, что имеет отношение к делам веры».

«Кербелан Камбар-Али! Отец мой ходил на охоту в чалме и аба?²»

«У вашего отца была для охоты особая одежда. Сам он ее называл одеянием пахаря».

«Так правду говорят, что мой отец сам пахал, Кербелан Камбар?»

«Да, господин Рухолла... И пахал, и поливал, и жал, и руководил пятничным намазом. За это его так любили...»

«Так любили, что расстреляли в упор?»

«Нет, господин Рухолла... Нет... Как-нибудь, когда вы подрастете, я расскажу вам, кто убил сейида Мустафу...»)

Рухолла отвел взгляд от ружей и направился к двери. Все, кроме Муртазы, глядели на него. Мать Рухоллы была в сильном волнении, но она никогда ни в чем не шла наперекор Сахибе-бану, потому что та, как и ее покойный брат, была пускай и властной, но справедливой. Биби-Хавар же всегда старалась вести себя в присутствии Сахибе-бану тише воды, ниже травы — она ее попросту боялась. К тому же ее мнения никто не спрашивал.

Рухолла натягивает свои гиве³, но, постучав ими об пол, вдруг резко скидывает их. Затем он медленно выходит из комнаты и спускается на две ступеньки; однако он возвращается и, остановившись на пороге, глядит на тетю.

— Я должен поколотить его, тетушка?

— Если это будет необходимо и если ты будешь в состоянии это сделать — да. Если же это будет необходимо, но тебе это будет не под силу — все равно бей его! Если правда на твоей стороне — ударь и умри! И пускай ты будешь раздавлен! Ясно, о чем я говорю?

— Да, тетя!

— Теперь уже не возвращайся! Спрашивай теперь самого себя и отвечай тоже сам. Это лучше, чем всю жизнь уходить и возвращаться с вопросами. Понял?

— Да, тетя!

У Сахибе-бану были особые принципы; она, как говорили, была похожа на сейида Мустафу, отца Рухоллы. Таких правил, как у него, не имел ни один хан. Возможно, именно за это ханы ненавидели этого имама, и именно поэтому он так ненавидел их...

Рухолла больше не возвращался...

Едва выйдя из дома и оказавшись в саду, на противоположном его конце, он увидел Джавада, тот все еще сидел под яблоней. Тощий и невзрачный, он, зажав голо-

ву между коленей, горько плакал — это, видимо, давно стало у него привычкой и, возможно, некоей разновидностью игры: издав череду стонов, обычно в количестве до шести, он переводил дух и вновь принимался стонать.

«Нужно узнать, необходимо ли это», — подумал Рухолла.

— Джавад! Почему твоя мать не пришла тебе на помощь, когда тебя бил Абдаллах?

Джавад, продолжая плакать, ответил:

— Моя мать сейчас в доме Абдаллаха, работает на его мать.

— Хорошо, но ведь она слышит, что ты плачешь! Или не слышит?

— Почему же, слышит. Но она не может бросить работу и прибежать сюда.

— Почему не может?

— Ханийе-ханум не любит этого. Один раз сказала, что в следующий раз выгонит ее.

— Твоя мать тебя не любит?

— Почему не любит? Она плачет из-за меня, каждый вечер плачет.

— Хватит! Вставай! Я больше не позволю Абдаллаху или кому-то еще бить тебя.

— Вы не сможете. Абдаллах куда сильнее вас. И он старше, чем вы. Абдаллах, если

захочет, и вас поколотит.

Рухолла не стал слушать, что говорит Джавад. Он посмотрел вокруг и сквозь деревья сада увидел Абдаллаха.

Рухолла направился к ограде.

— Абдаллах! Абдаллах!

Абдаллах вышел на террасу.

— Ну чего тебе?

— Подойди сюда, дело есть.

— Какое дело?

— Подойди, скажу.

— Подойди сам, калитка открыта.

— Открыта. Но у меня такое дело, о котором можно говорить только здесь, а не на вашей территории.

— Что за ерунда! Ну подожди, я обуюсь.

Рухолла стал ждать.

Джавад изумленно наблюдал за ним.

Ветер, сад и ручей ждали все нетерпеливее.

Абдаллах вышел и, пройдя сквозь калитку, остановился перед Рухоллой. Они оказались лицом к лицу так близко, что их лбы почти соприкасались.

— Ну, чего надо?

— Вот что, Абдаллах, никогда не смей больше трогать Джавада!

— Почему это?

Рухолла подумал: «Нужно дать подходящий ответ».

— Потому, что я решил, что ты больше этого не должен делать.

— Почему?

— Потому что Джавад слабее и младше тебя.

— А тебе что до этого? Ты кто ему, мать родная? Или сестра? Или брат?

Джавад теперь только смотрел, он уже не плакал. Он представлял себе то, что должно будет произойти. «Рухи не сдобровать, — думал он. — Абдаллах повалит его, схватит за воротник и будет бить головой об землю. Потом Рухи будет реветь, и кто-нибудь прибежит ему на помощь. Мешхеди. Нури. Кербелан. Муртаза. Они скажут только: «Будьте взаимно ласковыми. Любите друг друга, играйте вместе». И уведут Рухи, чтобы почистить ему одежду; а мне Абдаллах опять даст по ушам».

Рухолла нерешительно произнес:

— Я ему брат.

² Традиционная мусульманская верхняя одежда без рукавов.

³ Обувь с матерчатой подошвой и вязанным верхом.

— Никакой ты ему не брат. Все это знают.

— Я решил, что с этого дня буду ему братом. Я заключаю с ним братский договор.

Тем временем тетя Рухоллы и его сестры наблюдали за развитием событий из окон верхнего этажа. Сквозь ветви и листву деревьев им было видно не все. Однако матери Рухоллы и биби-Хавар было неприятно видеть эту сцену — им не хватало для этого смелости. Они были уверены, что Рухи вот-вот окажется на земле; господин сей-ид Мустафа всегда говорил: «Мы знаем, мы уверены... Однако все, в чем мы бываем уверены, может оказаться далеким от действительности. Наши знания не есть непреложные истины». Они плохо знали своего Рухи. Сахибе-бану чувствовала его лучше всех.

— Бог знает, сколько они еще будут петушиться, — сказала Сахибе-бану. — В любом случае кто-то должен сделать решительный шаг. Первый удар очень важен, он дороже ста ударов!

Муртаза тихо произнес:

— Никого Рухи не поколотит. Он на это неспособен.

Сахибе-бану сказала:

— Придет время — поколотит. И ты тоже, когда придет время, сможешь это сделать, я знаю, хотя в свои пятнадцать лет ты еще никого не бил, а только сносил удары.

Абдаллах попробовал говорить мягче:

— Какой ты ему брат? Быть такого не может! Ерунду ты говоришь. Его мать — не твоя мать. Твой отец тоже не был его отцом. Договоры здесь бесполезны: это тебе не женитьба.

— Не важно. То, что ты говоришь, совсем не важно. Раз у меня есть желание стать ему братом, значит, я ему брат. Да и пускай мы с ним просто друзья — я не хочу, чтобы моего друга били и обижали, Абдаллах! Так вот, последний раз повторяю: больше никогда, никогда не смей бить и обижать Джавада. Вот так.

— Буду и обижать, и бить.

В голосе Абдаллаха уже не было прежней твердости и властности. Наступал решающий миг.

Абдаллаху как будто показалось, что Рухолла стал каким-то другим, в нем появилось что-то новое. Он почувствовал это и застыл на месте. Однако принять условия Рухоллы ему было нелегко: в случае согласия Абдаллах терял половину тех удовольствий, что были у него в жизни.

Если он сегодня примет это условие — не трогать Джавада, — завтра, возможно, он потеряет право побить и Акбара, Махсана, Али.

Абдаллах почувствовал, что положение его плачевно. Чувствовал он и то, что перед ним уже не тот Рухолла: в сердце того, в его теле, его черных горящих глазах появилось что-то такое, чего раньше не было; что-то новое и могучее. Между ними никогда не происходило никаких столкновений, оба соблюдали дистанцию. Рухолла, конечно, не воздвигал стен, чтобы оградить себя от бесчинств Абдаллаха, — он только наблюдал. Только наблюдал, сдвинув брови, нахмуренный, с презрением на лице.

Абдаллах был приблизительно двумя годами старше Рухи, к тому же более тренированным. Они вместе играли и ходили в школу. Рухолла не имел обыкновения браниться; Абдаллах также вел себя по отношению к нему довольно вежливо. Возможно, ему так велели; но ему не велели, чтобы он вел себя так же вежливо по отношению к Джаваду, Акбару, Али, Махсану и всем прочим. Сын хана должен идти по пути ханов. Абдаллах видел, как его отец бьет кнутом отца Махсана; он видел это не раз, и множество подобных вещей он видел. Теперь ему нужно было принять реше-

ние, что делать. Ему не хотелось переступить ту границу, что незримо существовала в их отношениях. Непонятно почему, но это нагоняло на него страх. Рухи выглядел крепким и неподатливым. Непокорным. Упрямым. Это уже не был вчерашний Рухи или Рухи такой, каким он был год назад. Как долго он ждал сегодняшнего полудня! Теперь он был «носителем беды», носителем чего-то более безжалостного, чем кнут, но при этом мягкого. Яблоку стала подобна жизнь его — спелому яблоку, красному-красному, только что беспомощно свисавшему с ветки — и вот уже независимо лежащему на земле, в земле, но прекрасному...

— Абдаллах-хан! Я прошу тебя, я прошу, чтобы ты больше никогда, никогда, никогда не бил Джавада и не обижал его — не важно, один он или с другими, рядом я или меня поблизости нет. Послушай меня, и мы останемся друзьями. Я буду иногда ходить к вам в гости, ты будешь ходить к нам в гости; будем все так же вместе ходить в школу, вместе собирать плоды... Пойми же меня, Абдаллах. Я не должен больше позволять тебе издеваться над Джавадом... Не должен... И поэтому, если ты не дашь слово мужчины, что не будешь трогать Джавада, я вынужден буду побить тебя так же, как ты бьешь его... И до тех пор, пока ты его будешь бить, я буду бить тебя. Послушай меня, Абдаллах, одумайся.

Абдаллах оказался в самом ужасном положении, в какое он когда-либо попадал.

Джавад стоял неподалеку и ошеломленно смотрел на говоривших.

Еще вчера Абдаллах бы жестоко и безжалостно избил Рухи, а затем поколотил и Джавада. Но сейчас в черных глазах Рухи вспыхивали молнии, их взгляд приводил в трепет; в них была решимость стоять насмерть. Пускай сам полуживой, но он разотрет Абдаллаха в порошок! Он извывает его в грязи, он перегрызет ему горло, он будет его бить смертным боем, он заставит его рыдать в присутствии Джавада и вырвет у него сердце!

— Мне нужно подумать, соглашаться на то, о чем ты просишь, или нет. Завтра я дам ответ. Завтра в это же время, в этом же месте, только я и ты.

— Нет! Сейчас, здесь и сейчас! Пойми, я должен, Абдаллах! Оттуда, сверху за нами наблюдает человек, которому я дал слово, Абдаллах-хан!

Абдаллах растерялся еще больше. У него тряслись колени. Уголки его губ беспомощно смотрели вниз. Надменный взгляд тирана куда-то пропал. С трудом сглатывая слюну, он, напыжившись, некоторое время молчал, а затем ему пришлось на ум, как решить спор.

— Будем драться: кто окажется сильнее, тот и прав.

— Хорошо, давай драться. Но если я окажусь слабее, мои слова останутся в силе. Давай драться. Ты будешь бить меня, я — тебя. Будем бить друг друга до тех пор, пока один из нас не сдастся. Если тем, кто сдастся, буду я — хорошо... Но потом я снова потребую, чтобы ты дал слово: никогда...

— Ты просто упрямисься.

— Это не упрямство, а настойчивость.

— Но такого не может быть!

— Ну, и слава Богу! Зато ты можешь дать клятву. Вот. К драке же я готов. Наверняка ты и не сможешь меня одолеть. Само собой, ты проиграл! И хватит слов.

— Но ты говоришь, что в случае твоего поражения я все равно должен буду дать слово.

— Да.

— Ну, а если не дам?

— Не сможешь. Если ты убежишь, я буду преследовать тебя. Я обращусь за помощью к хану Али, к Раджабу Чупану. Ночь напролет я буду звать на помощь. Разгорится вражда.

Рухолла отошел и стянул рубашку, чтобы было удобнее во время драки.

Сахибе-бану сказала:

— Он сделал еще один важный шаг. Он будет драться.

Муртаза наконец встал и подошел к окну. Мать Рухоллы проговорила:

— Господи! Тебе поручаю его!

Биби-Хавар стояла нахмурившись.

Сестры Рухоллы в глубине души испытывали что-то вроде радости.

Рухолла знал, что с верхнего этажа за ним сейчас наблюдают Сахибе-бану, Муртаза и сестры и что мать его, конечно, не в силах вынести этого зрелища; но в отношении биби-Хавар он не мог определенно сказать, смотрит она сейчас на него со слезами на глазах или не смотрит.

Сахибе-бану сказала:

— Молодец, хорошо держался. Так хорошо, как только можно. Теперь и драться будет хорошо.

— Но он слабее Абдаллаха, — сказал Муртаза.

— Раньше, конечно, был слабее. Но сегодня очень может быть, что и нет, и силы у него окажутся не меньше, и если он сам падет, то и от Абдаллаха мало что останется. Даже отсутствие победителя — победа Рухоллы.

— Если бы Джавада не было рядом, они бы давно разошлись миром.

— Такой мир ничего бы не решил. Слабый должен остаться на поле брани.

Абдаллах не двигался с места.

Абдаллах тихо засмеялся.

Абдаллах тихо прошептал:

— Если я соглашусь на то, о чем ты просишь, ты никому не скажешь, что Абдаллах испугался и принял твои требования?

— Нет, клянусь прахом моего отца.

— Я согласен. Я не хочу с тобой драться, не хочу тебя калечить.

— Спасибо, Абдаллах! Скажи теперь то же самое Джаваду. Перед ним самим поклянись, я прошу тебя, Абдаллах-хан!

— Нет, не пойдет. Это унижительно.

Рухолла перешел на шепот.

— Пойдет, очень даже пойдет. И нисколько это не унижительно. Протяни ему руку и скажи, что больше ты не будешь его изводить. Я благодарю тебя, Абдаллах-хан!..

Абдаллах сдвинулся с места и медленно, нехотя подошел к Джаваду.

— Дай руку! Теперь мы с тобой друзья, и я больше не буду тебя лупить.

Джавад улыбнулся и протянул руку.

— Спасибо, Абдаллах-хан! У меня горит лицо и болит спина, но да сохрани тебя Бог, Абдаллах-хан!

...Абдаллах шел и думал: «Почему я согласился? Чего было бояться?»

Сахибе-бану гордо сказала:

— Добрый поступок совершил, очень добрый! Довел дело до конца. Значит, время уже пришло. Теперь ему предстоит отведать самый вкусный обед в своей жизни, и это в девять лет! всю жизнь он будет помнить его... Биби-Хавар! Собирай на стол!

Рухолла вошел молчаливый и с опущенной головой.

— Иди же, милый, иди к столу! Какой ты молодец!

— Спасибо, тетушка. Я не хочу есть...

...

Рухолла знал, что завтра он отправится на лужайку желтых цветов...

3. ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ: «СПЛОТИТЕСЬ ВОКРУГ ЭТОГО УЧИТЕЛЯ!»

— Я воздвиг здание, которое однажды неизбежно должно обрушиться на мою голову... Я знаю это, но я его воздвиг.
— Не считите за дерзость, что я задаю этот вопрос, но это очень поучительно: зачем же вы вообще воздвигли его?

— Потому что не созидать, в любом случае, я считаю непростительным. Созидание — обязанность человека. Созидать же означает подвергать себя неизбежной опасности.

— И вы, вследствие неизбежности, построили некое здание... для угнетателей?

— Нет... То здание было цитаделью для похода на угнетателей, но его захватили бандиты, воспользовавшиеся тем, что мы увлеклись войной с угнетателями и потеряли всякую бдительность... И вот мы сидим теперь под крышей, на которой пляшут злодеи.

— Что же нужно делать, чтобы это бедствие пошло на убыль?

— Пока не терять бдительности. Вот и все.

Господина Модарреса⁴ мало заботила судьба той династии, что сделала так много для разрушения великого исторического Ирана. Господин Модаррес не считал, что Каджары заслуживают доверия, но там, где он ожидал найти брод, оказался омут...

— ...Искать защиты у Каджаров меня вынудило злосчастное появление Реза-хана. В аду, знаете ли, есть гады такие ужасные, что человек готов искать от них укрытия и у дракона.

...В этом была страшная тайна жизни господина Модарреса — жизни полной мук и скитаний...

Модаррес оказался в таком ужасном положении — точнее, поставил себя в такое ужасное положение, что только человек, подобный ему — служителю веры, опирающемуся лишь на самого себя, в убогом кафтане, но с железной выдержкой, — только такой человек мог легко, и даже с юмором, принять разящие удары клеветы и наветов.

— ...В то время, на склоне исторической осени, я словно сидел на перепутье, подставляя себя всем ветрам, что налетали, приносили мне страдание и влекли меня к прискорбной смерти. Обвинение в верности Каджарам было тогда слишком серьезным, чтобы религиозно-политический деятель — самоотверженный человек в латаном кафтане, в ветхих холщовых шароварах, приехавший издалека на своей хромоу кляче, — мог легкомысленно принять сторону этих властителей и не поморщиться, а тем более просто так, в шутку воскликнуть: «Да здравствую я, смерть Реза-хану-Сабленосцу!» Для тех же, кто привык к постоянному бегству, уберечься от этого обвинения было куда проще...

— ...Тогда почему, господин, вы не покинули это историческое перепутье?

— Это было невозможно, мой мальчик... Невозможно... Я согласился на этот хронический плевроит истории только затем, чтобы предотвратить бурю, которая могла унести тысячи жизней...

Все это относится к понятию «оказаться в ситуации», и я не думаю, чтобы то, что я подразумеваю под словом «ситуация», было для вас в диковинку. Это как раз то, о чем мы часто размышляем, вынуждаемые к этому каждым мгновением политиче-

⁴ Сейид Хасан Модаррес — видный религиозный деятель Ирана начала XX века, учитель Хомейни. Прожил бурную политическую жизнь, частично в эмиграции; боролся с шахом Реза-ханом Пехлеви.

ской жизни, а именно: оказаться на распутье и принять опасность выбора — не логикой, а интуицией — и заставить себя выбрать одно из двух, пускай выбор этот и не столь очевиден. Преодолеть двойственность, которая ни при каких условиях не сводится к единству, но которую непременно нужно преодолеть, ибо нет несчастья больше, чем колебание...

Чтобы вы знали, в чем разница между тем, что сделал я, и тем, о чем рассказывает легенда, я скажу: Сухраб во время своей плачевно окончившейся битвы не раз спрашивал, даже умолял противника открыть свое имя, но Рустам дерзко сохранил имя свое в тайне.

Я не хочу здесь говорить о тех колебаниях, которым, вероятно, подвергся Рустам, думая, открыть или утаить себя. Рустам не поставил себя в «ситуацию», но, займись он тогда логическими размышлениями, он бы лишился головы.

Рустам упрямылся. Никаких оснований не исполнить просьбу Сухраба у него не было, кроме его самоуверенности и самомнения, а мериться силой с каким-то ребенком он считал ниже своего достоинства. Рустам никогда не думал о том, насколько необходимо ответить или промолчать, и не ставил себя в рискованное положение — между «один» и «минус один». Что повлечет за собой ответ? Какие будут последствия, если он промолчит? Нет! Рустам и не собирался думать о том, что целесообразнее. Не ответил, потому что не ответил, вот и все. Не ответил — и проиграл, и навсегда погубил легенду своей жизни. Легенда о Рустаме и Сухрабе так печальна не по причине того, что Сухраб погиб молодым, но потому, что его смерть была бессмысленна — пустая смерть, против которой уже ничто не поможет, — и поэтому рассказчик говорит: «Доброе сердце Рустама охватывает гнев», ибо, если бы разум и отцовское чувство взяли верх, отец не утаил бы беспричинно от сына свое имя и Сухраб остался бы жив и вместе с отцом вел бы борьбу против врагов родины.

...Мы никогда не поставим Модарресу в вину того, что он смиренно восхвалял Ахмад-шаха.

И никогда не простим Рустаму того, что он сразу же не раскрыл своего имени. Потому что Модаррес находился в «ситуации», а Рустам оказался в плену своего имени и амбиций и поступил наперекор здравому смыслу и растущему чувству. Господин Модаррес, руководствуясь сверхличностными мотивами, вышел на поле битвы, от которой зависели его слава или позор, Рустам же отверг трезвое размышление ради того, чтобы остаться гордым Рустамом, чтобы внешне сохранить образ героя. И ради этого он позабыл про великодушие и просил у своего Ахуры большего могущества — чтобы повергнуть и растерзать того мальчика, который ни о чем и не подозревал...

«Оказаться в ситуации» — означает в целом отречься от самого себя и думать только о достижении цели, и следовать настоятельной необходимости с мыслью о том, что это нужно для блага нации, веры, родины, общества, будущего, всего мира...

Господин Модаррес не сочувствовал Каджарам, однако в определенном историческом миг он встал перед выбором — между большим злом и очень большим злом. Он знал, что в любом случае в него полетят камни, что он будет оплеван всяким сбродом и что стрелы ненависти будут жалить его, но знал он также и то, что только страх бесчестия приносит вечное бесчестие.

Когда человек «оказывается в ситуации», он совершает выбор наедине с самим собой и своим Богом. Постоянно вылизывать место намаза, полагая, что наш бдительный глаз дарует намазу чистоту, избегать превратностей судьбы, потому что «правда всегда посередине», отправляться в путь, только хорошо зная дорогу и будучи уверенным, что в зарослях нет хищников, — все это избавляет человека от страха перед опасностью, охлаждает его пыл и сводит жизнь к ледяной внешней благопристойности.

Но жизнь — это огонь, а не его гибель.

Извести себя, постоянно, всеми силами своего мозга размышляя над тем, какой путь предпочесть в данный момент, и, сделав выбор, неотступно следовать выбранному пути — это требует отваги и мужества. Для того же, чтобы избежать выбора и позвать пустую славу и завещать другой эпохе фальшивый авторитет, — для этого особая доблесть не нужна.

Невозмутимо оставаться в стороне — означает быть трусом.

Доблесть — это значит находиться в самом очаге беды и при этом сохранять спокойствие.

Способность «занимать позицию» не имеет ничего общего с борьбой между добром и злом, Богом и дьяволом, борьбой совести с грехом, соблазнами и похотями. Речь идет о том положении, когда человек оказывается между двумя путями, из которых ни один не обладает очевидным превосходством: начать наступление на врага можно и по тому, и по этому пути. Какой же из них лучше? А на каком тебя ожидает ловушка и гибель?

...Ни тот, ни другой мне с достоверностью не известен...

Кому отдать свой голос, чтобы не ввергнуть свою родину в пучину непоправимых бед? Две правды, два пути — или после необходимого размышления бесстрашно выступить и достичь цели, или, признав свою ошибку, погибнуть.

Не перед важным выбором между хорошим и плохим, безобразным и прекрасным, белым и черным стоим мы постоянно, но перед проблемой: какой путь короче, какой из этих двух, трех, четырех, тысячи путей нас доведет до цели или доведет скорее?

Настоящий человек не поддается долговременному разрушительному колебанию. Человек — это тот, кто склонен делать обдуманый выбор без излишней траты времени.

Беда в том, что мы не можем принять решение, а не в том, что решение, принятое нами, может оказаться неверным.

Модаррес понимал, что Каджары не заслуживают того, чтобы править страной. Но в жизни бывают моменты, когда ты обязан сделать свой выбор из двух зол, потому что гораздо хуже этих двух зол — оставаться пассивным и затягивать с выбором.

— ...Время подобно движению. Движение же — самая фундаментальная обязанность человека. Стоять на месте под тем предлогом, что любой путь полон опасности и тревоги, — самый скверный выбор.

Говорю вам, господа, доблесть состоит в том, чтобы занять позицию и сделать выбор, а не в том, чтобы всегда делать правильный, удачный выбор. Наше разумение имеет границы. Нам свойственно ошибаться и отклоняться от верного пути, и раскаиваться. Но тратить время на сомнения, боясь совершить ошибку, и потом раскаяться — непростительный грех.

Человек — это единственное живое существо, которое сотворено, чтобы раскаиваться, плакать, исправлять ошибки и вновь пускаться в путь.

Совершать ошибки — это не право человека: он просто обречен на это.

Попробуй обдумать все сразу, воспользуйся логическим методом, — который надежен, как закаленная сталь, — взвесь все «за» и «против» на весах разума, чести и чувства, посмотри вдаль, насколько хватит взгляда... И, наконец, прежде чем станешь поздно, — иди! Не стой, не сомневайся! Опирайся на свой собственный авторитет, не слушай, что говорят другие.

Мы еще не забыли: «Те, кто есть, — борются, те же, кто не борется, — на деле не существуют: некому и бороться». Не важно, чьи это слова и нравится тебе или нет сказавший их. Важно, что они полностью относятся к понятию «существовать». Речь идет о проблеме «присутствия» на том ристалище, на которое выходит «присутствующий».

щий». Тот же, кто отсутствует, — мертв. Он — труп. Средоточие разложения. Нужно постоянно находиться в «бытии», которое неизбежно приводит к «становлению»...

...Модаррес на своей ветхой телеге, запряженной старой хромой кобылой, со своими немощными ногами, в изношенном заплатавшем кафтане, с сумкой, в которой лишь Коран, сборник молитв да дневник, — Модаррес приехал, конечно же, не для того, чтобы взвалить на свои плечи груз ответственности за людей, продавших родину и превзошедших своим чужебесием границы всякого воображения. Он приехал для того, чтобы свести счеты с тиранами и изменниками, правыми и левыми, а не затем, чтобы вернуться восвояси и считать синяки. Ошибаются или лгут те, кто думает или говорит, что Модаррес выступил против Реза-хана во имя Каджаров.

Модаррес не был влюблен в монархию и не боялся установления республики, но ему было страшно оттого, что безвольного Реза-хана наделили властью куда большей, чем та, которую имели свергнутые Каджары. И по этой причине в своем удивительном послании изгнанному Ахмад-шаху Модаррес предельно ясно заявил:

«Шах знает, что я и мои друзья прилагаем все усилия для торжества идеалов патриотизма и не щадим жизни во имя их. Эти самоотверженные старания прилагаются отнюдь не по причине верности шаху и монархии, но судьба распорядилась так, что важнейшие и священнейшие столпы нашей веры нынче находятся на грани гибели.

Те перемены в государственном устройстве, что происходят в настоящий момент, говорят только об одном: о глубоком упадке наших национальных и религиозных начал.

Я, Модаррес, ясно заявляю, что в то время как цель, преследовавшаяся другими среди этой смуты, состояла в свержении шаха, — я никогда в борьбе против Его Величества не участвовал. Теперь мне еще более ясно стало, что конец Вашего правления означает конец нашего национального существования.

Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, что уже почти два столетия колониальные державы пытаются воплотить в жизнь свой план колонизации стран Востока. Наш народ до сих пор по мере возможности, в силу своей самобытности и мудрости, избегал ловушек, расставленных колонизаторами; здесь можно упомянуть события, связанные с «Режи»⁵, введение табачного эмбарго, упразднение договора Восуг-од-Дауле и провал планов Реза-хана по созданию республики...

Теперь мы — я и мои друзья — просим вас вернуться на родину...»

* * *

Однажды, в лютой мороз, какого почти никогда не случается в Тегеране, по улице шел молодой мулла, с трудом прокладывая себе дорогу по глубокому снегу и кутаясь в свой кафтан. Один. Один-одинешенек.

Другие семинаристы шли группами, и в этом была какая-то теплота — идти плечом к плечу и вести разговор. Но наш молодой мулла — хадж-ага Рухолла Мусави — все-таки шел один.

Рухолла пересек площадь Мохбер-од-Дауле, прошел часть Шахабада, свернул на улицу Мечети и остановился у дверей дома хадж-аги Модарреса. Дверь не была открыта, но и замка не было. Рухолла тихо толкнул ее, и дверь открылась. Он вошел во дворик и подумал: «Хорошо, что не боится. Хорошо, что у его дома нет никакой охраны и дверь не имеет замков и запоров. Но ведь его убьют. Именно здесь. Реза-хан

убьет. Англичане. Как легко проникнуть в этот дворик, потом войти в комнату и выстрелить Модарресу в сердце. В сердце или в голову? О, Боже! Почему до сих пор, спустя двадцать два года, мой разум не разрешил этой загадки? В сердце или в голову был застрелен отец?

...Почему мать говорила, что в его карманном Коране была дырка величиной с монету? И почему Сейиди говорил, что лица вообще не было, и только полголовы?

Мулла Рухолла вновь задумался: что важнее? Как трудится хадж-ага Модаррес — сердцем или мозгом? Чему отдает предпочтение?

«Многоуважаемые господа богословы и духовные лица! Разумом будьте с правительством, а сердцем — с Богом. Считайте, взвешивайте, оценивайте здесь, ибо вы имеете дело с плохим (потому что мирским) счетчиком. Там же — предстаньте перед Богом с открытыми сердцами, с искренностью, чистотой и покорностью. Здесь — вы должны всегда знать себе цену; там — забудьте, что такое цена, и отдайтесь Богу. Здесь на всем сохраняйте покровы тайны; там, в чертогах Бога, их удалите. Здесь — с дальновидным разумом... Там — с любовью, с сердцем — без всякой посторонней мысли...»

Молодому Рухолле не хотелось идти к кафедре; и в то же время хотелось высказаться. Он всегда был озабочен выбором. «Не поехать ли в Хомейн в ближайшие месяцы? Подняться по тем же ступеням, по которым поднимался хадж-ага Мустафа?.. Спокойно, с достоинством подняться на кафедру — молодому, высокому — и сказать, что довольно народных страданий, довольно ханского произвола. Сказать, что все Каджары — палачи; Реза-хан — палач; сейид Зия, Ахмад Каваш, несмотря на свое презренное благочестие, и многие другие — палачи. И труженик, который сносит унижения и не смеет поднять голову, который не требует того, что ему принадлежит по праву, — слуга и пособник палачей, их орудие и даже — гораздо хуже их... И сказать, что дверь дома хадж-аги Модарреса, который ведет войну против ваших врагов, всегда открыта и что Реза-хан обязательно его убьет, потому что вы, страдальцы, свыклись со страданием, и не бунтуете, и не поднимаете крик, и свою горькую участь рассматриваете как Божью волю, и болезни своих детей считаете посланными Богом для того, чтобы вас испытать; но горе крестьянину, который думает, что об испытаниях Божьих помнят те, кто служит сатане...»

Молодой мулла вместе с другими семинаристами вошел в комнату Модарреса, поприветствовал его, поклонился и тут же сел у двери, где страшно дуло сквозь огромные щели.

Господин Модаррес видел муллу до этого всего три раза и знал его только в лицо. Брата его, достойного Муртазу, который иногда посещал лекции Модарреса в медресе Сепаксалара, он знал лучше. Но он не догадывался, что два этих молодых священника могут быть братьями. Они совершенно не были друг на друга похожи. У того взгляд был мягкий-мягкий, как пуховая подушка, у этого же взгляд был подобен стреле — и можно было не сомневаться, что эта стрела достигнет и поразит неприятеля.

Семинарист сказал:

— Господин Модаррес! Повсюду говорят, что суть ваших разногласий с генералом Реза-ханом в том, что вы за монархию и против республики, верите в неизбежность монархического порядка и считаете единовластие абсолютным благом; а Реза-хан, сейид Зия и многие другие говорят, что монархии конец и пришло время для установления республики...

Модаррес давно уже привык к подобным выпадам и к боли, которую они вызывали, и поэтому у него всегда был наготове ответ.

— Нет, господин студент... Ваш покорный слуга отнюдь не сторонник монархии — ни каджарской, ни какой бы то ни было другой; то есть, говоря начистоту, я не считаю монархический строй благом для народа и общества, поскольку пока еще не

⁵ Табачная монополия в Турции в начале XX века.

было такой монархии, в которой бы власть исполняла Божью волю и была бы такой, как указывал Господь, — была бы даром, милостью или, по крайней мере, не являлась бы орудием истязания труженика. Но это вовсе не означает, что ваш покорный слуга поддерживает идею демократии во главе с генералом. Такая демократия — это начало новых бед, новая хроническая болезнь. Они придут под лозунгом республики, но, оседлав коня, они с него уже не слезут. Будут поддерживать свою собственную власть, а поскольку они необразованны и ненабожны, их опорой и орудием станут иностранцы, и они дойдут и до того, что все государство отдадут им на откуп, а сами будут довольствоваться ролью прислуги. Недавно султану — на краю гибели — стало ясно, что хорошо не только царствовать, но и управлять; служить, а не предавать. Но у этого огромного чудовища в человеческом обличье, этого исчадия ада, неизвестно откуда взявшегося и как попавшего сюда, все существование — сплошной эгоизм, преклонение перед силой, жажда неограниченной власти и услужливость перед англичанами... Ты что-то хочешь сказать, сын мой?

— Как вы узнали, что я хочу высказаться, хадж-ага?

— По глазам. В твоих глазах несогласие.

— Я хочу спросить: вы протестуете против полноты Реза-хана или его любви к иностранцам?

— Что ты имеешь в виду, сын мой?

— Когда во время спора вы говорите об «огромном чудовище», человеку сразу вспоминается ваша худоба, и, сравнивая ее с телосложением Реза-хана, он воображает, что вам не нравится в Реза-хане его полная фигура, а не то, что он некомпетентен в вопросах политики и религии, что он серость и тиран, ведь благодаря этому, а не фигуре, ему и оказывают поддержку из-за границы.

Модаррес молчал.

Молодые семинаристы недобро смотрели на Рухоллу. Рухолла приезжал из Кума по своим особым причинам, — чтобы, передохнув в доме своего брата, пойти увидеть и послушать Модарреса и других. Это был уже третий раз, как он был здесь, и впервые он позволил себе открыть рот.

(Если бы хадж-ага Лавасани-младший изъявил желание ехать в Тегеран к Модарресу, Рухолла, конечно, вел бы себя более открыто и ходил бы к Модарресу рука об руку с другом, как и остальные, но сейид Лавасани-младший не обнаруживал склонности к подобным вещам. Лишь по вечерам он иногда сидел рядом с Рухоллой, слушал его, кивая головой, и говорил: «Милый Рухолла, ты создан, чтобы болтаться на виселице. Если завтра — очередь Модарреса, то послезавтра — твоя. Его повесят в шестьдесят лет, тебя — в двадцать», — на что Рухолла отвечал:

«Модарресу — пятьдесят шесть лет, а мне — двадцать два, запомни это!»)

По-прежнему было тихо.

Мулла Рухолла понял, что его удар был хоть и бесхитростный, но тяжелый.

— Я прошу простить меня, господин, я не хотел вас обидеть. Но его превосходительство хадж-ага Таба-Табаи говорит: «У ученых, близких к философии, каждое слово обладает предельной весомостью, достигает таких вершин могущества, от которых рукой подать до небес». Именно это, возможно, и имеется в виду в том месте одной из Священных книг, где говорится, что «слово есть Бог; слово есть Сам Бог». Когда вы в собрании людей небрежно намекаете на телосложение одного злодея-военного, вы касаетесь той части его существования, над которой он невластен, вероятно, здесь сыграли свою роль Божий промысел и полнота его деревенских родителей. Поэтому вас уличат потом в несправедливости и не поймут великой важности ваших слов, касающихся страшной опасности тирании, и повсюду будут говорить, какой господин Модаррес хороший, веселый и остроумный человек и как много он шутит, но чего-то серьезного,

требующего осмысления, от него не услышишь; и враги нации и веры найдут повод, чтобы расправиться не только с вами, но и со всеми нами, поскольку вы — наш знаменосец. И снова воцарилась тишина.

Семинаристы опустили головы. Этот дерзкий мулла с предельной откровенностью выразил их общее мнение.

Модаррес подавил в себе обиду.

— Если бы вам, с вашей молодостью, да на заседание совета вместо меня! Вы говорите так тонко и убедительно, молодой хадж-ага!

— Спасибо за похвалу, ваше превосходительство господин Модаррес. Но я считаю те заседания подходящим местом для духовенства. То, что вы говорите, в тех же рамках может сказать и господин Мосадек-ос-Салтане. Даже Хаэри-заде и Таки-заде могут. То же, что они не в состоянии, а вы в состоянии сделать — это призвать всех мусульман Ирана дружно встать на борьбу против Каджаров, сторонников Реза-хана, всех деспотов и иностранных марионеток. И если бы с народной помощью вам удалось в конце концов создать такую власть, которая была бы носительницей духа власти повелителя Али (да благословит его Аллах!), — свой долг, как представитель борющегося духовенства, вы бы выполнили.

— Юный мулла, хотите ли вы этим сказать, что главная цель ускользает от меня?

— Нет, ваша цель пока, на небольшой отрезок времени, верна — я как маленький семинарист уверен в этом; но ваш путь к этой цели я не считаю правильным. Вы не наносите точные и сильные удары по уязвимым местам Реза-хана, ваши удары по большей части случайны и непродуманны. Вы стоите на конституционных позициях, но один из наших вождей несколькими годами раньше уже сказал свое слово о конституции; и в исламе шариат первичнее любых конституций. По глубокому убеждению вашего покорного слуги, вы проигрываете эту битву, и Реза-хан останется у власти в каком угодно качестве и начнет свои бесчинства, а нас, как вы изволили сказать месяца назад, «вытащит из ямы, чтобы сбросить в бездну», — а все потому, наверное, что господин Модаррес совсем один, и его спутники неспособны к решительному натиску. К тому же господин Модаррес хотя и атакует позиции угнетателей, но делает это не с позиции справедливости. В этой конституции ничего нет такого, что бы...

— Нельзя ли узнать, как ваше имя?

— Я Рухолла Мусави Хомейни. Я приезжаю в Тегеран из Кума — изредка, конечно.

— Да... Несколькими раз вы почтили меня своим присутствием и всегда садились тут же, около двери; почему же вы до сегодняшнего дня не делились ни разу своим мнением, сын мой? Почему не высказывали эти свежие, живые мысли?

— Нужно было, чтобы они, по крайней мере, созрели; незрелые мысли хуже незрелых плодов.

Молодой мулла знал, когда следует уйти, как и то, когда нужно говорить.

Мулла встал.

Все присутствующие встали.

— Хадж-ага Рухолла! Вы должны чаще бывать у нас, если это вам нетрудно или вы сознательно дадите себе этот труд, — и должны больше говорить с нами. Конечно, ваш покорный слуга желал бы чаще видеть вас и говорить с вами один на один — обсуждать государственные вопросы и текущие проблемы, чтобы после вы доводили до сведения семинаристов мое мнение и мою волю.

— Я постараюсь, господин!

И молодой мулла, поклонившись во все стороны, ушел, чтобы возобновить свой нелегкий путь по глубокому снегу.

Вечером был сильный мороз, но в сердце муллы был зной — потому что «в его сердце всегда горело бессмертное пламя».

Модаррес все еще стоял и говорил семинаристам:

— Вижу, как вы мнетесь, но не осмеливаетесь уйти... Идите! Идите! Если хотите пойти вслед за этим муллою и предложить ему узы дружбы — торопитесь, пока есть возможность...

Молодые семинаристы шли гурьбой по тротуару и молча смотрели на Рухоллу; они шли, окружив его плотным кольцом.

Кто должен был начать?

— Хадж-ага Мусави! Мы все горячо желаем познакомиться с вашими взглядами... Мы жаждем дружбы с вами...

Камень за камнем, для построения цитадели веры.

Холодный город.

Холодный свет луны.

Небывалая стужа.

И юноша, сжигаемый внутренним огнем...

4. ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ, ПРОДОЛЖЕНИЕ: ЧТО УЧИТЕЛЬ МОЙ ИМЕЕТ СКАЗАТЬ?

«...Моя цель — чтобы мир стал иным, а вовсе не высокие посты в изменившемся мире, — звучало во мне... —
...Я рожден, чтобы быть солдатом, а не отдавать приказы...»

* * *

...Привязаться сердцем легко, оторвать сердце трудно...

Одного мгновения духовной открытости достаточно, чтобы попасть в плен любви; но не хватит и тысячи лет, чтобы разорвать прочнейшие ее цепи, несмотря на то, что забвение — самое целительное из всех горьких снадобий и самое горькое из всех целительных, какие сотворил Господь...

В хорошую, влажную почву корни вырастают сами собой, без посторонних усилий и молитв, — хочешь ты этого или не хочешь; однако вырвать корни — все, полностью, и умертвить растение — требует больших усилий.

С огромным трудом я оторвал сердце от той хижины, в которой я уединился со своими мечтами, — ободрив себя тем, что это больше не моя хижина, да и никогда не была моей.

Затем могучий Человек-с-огнем-в-глазах открыл дверь моей — что уже перестала быть моей — хижины и молвил:

— Теперь нам предстоит труднейшее и опаснейшее из путешествий...

* * *

— О, учитель! В какую сторону следует нам пойти?

— Суть — в самом пути, а направление — иллюзия.

— Можно пойти туда, но там — пустыня; там — лес; а там, откуда вы пришли, — море, о Великий!

— Суть в том, что из пустыни можно выйти к лесу, из леса — к морю, а морем нетрудно достичь пустыни.

— Замкнутый круг?

— Да, если мы забудем про способность передвигаться; но для существа, обладающего этой способностью — не только для гепарда и орла, но и для соболя, и самого миниатюрного мотылька, — замкнутого круга не существует.

— А клетка?

— Свобода — это трофей, завоеванный в беспощадной битве, и клетка придает этой битве и самой свободе ценность и смысл. Замкнутый круг — разновидность принуждения, клетка — начало свободы выбора.

— О, учитель! Следует ли понимать ваши слова так, что пустыней можно достичь моря, и наоборот, в том смысле, что между добром и злом, тиранией и справедливостью, черным и белым границы не существует, и, двигаясь к черному, можно достичь белого, двигаясь к тирании — достичь справедливости, стремясь к злу — обрести добро?

— Юноша! Не расставляй силков логики — сам в них попадешь. Ты «мудрствуешь лукаво», пытаешься найти в моих словах что-то, чего я не говорил, стараешься меня испытать, но в намерениях ученика, который старается испытать своего учителя, есть какие-то неуместные колебания. Сегодня я не обижаюсь на них, потому что нынешняя эпоха — эпоха сомнений; другое дело — завтра...

* * *

Позади нас было море; впереди нас — священные высоты Эльбурза. Я был уверен или мне казалось, что он решит идти вверх и будет подниматься выше и выше, — именно таких действий можно было ожидать от этого светлого старца, словно сошедшего со страниц сказок и притч... Но он не был поклонником прежних учителей веры и не пошел в горы, чтобы воскресить образы великих пророков в сознании своего маленького ученика. Не вернулся он и к морю. Он пустился в путь по усыпанной мелкими ракушками песчаной дороге, ведущей неизвестно куда, и скоро я перестал ориентироваться на местности, и теперь сам путь как бы и был нашей целью, и «сам путь был выше места назначения», и «смерть на пути к цели была бы прекраснее, чем безмятежное существование в самом ее сердце».

Долго — возможно, несколько часов, возможно, несколько дней или даже месяцев — шагали мы в полной тишине.

Он шел широкими шагами, не останавливаясь; и мало-помалу я стал выбиваться из сил.

Он шел так, словно оставалось немного до Магриба⁶, а ему нужно было успеть возглавить там вечерний намаз; мне же казалось, что я слышу, как жалуются мои ноги, и мне было стыдно.

Я молча изнывал от усталости и мучился вопросами, хотя и знал, что мы лишь в начале пути.

Потом я мягко и кротко произнес:

— О, господин! Даете ли вы мне, своему маленькому ученику, право задавать вопросы, если они не рождены сомнением?

— Я не могу наделить правом; то, что было правом до меня — подлинным, реальным правом — остается им и теперь, — ответил он.

— Когда же наконец, в какой день, год или век, и куда мы придем? — спросил я.

— В тот день, когда ты на место логического размышления поставил страсть, а на место расчета — любовь, ты сам лишил себя права спрашивать о времени и месте со-

⁶ Крайний запад мусульманского мира, «место заката».

единения. Не забывай: мы тебя к послушанию не призывали и в путь за собой не тянули. Ты сам бросил презренное созерцание из убогого окошка и, взвалив на плечи мешок, пошел вслед за нами. Теперь мы должны тебя спросить, — мы, не лишавшие себя права задавать вопросы: «О, ученик! Для чего ты оставил жизнь, погрязшую в мерзости, и укрылся в той убогой лачуге, где по крайней мере жил аромат бури?»

— Ни для чего, но вследствие усталости; «усталости от серости повторения», и вследствие отвращения к тому зловонию, которое заполнило воздух нашего города; возненавидев духовное разложение и телесный разврат, и злого духа лжи, который правил душами обитателей этого болота; и безграничную низость презренных стяжателей; и то, что все постепенно и бесшумно погружается в эту жижу, в это болото, и все это видят и молчат...

— Твой разлад с окружающим миром, о, сын мой, был только неприятием мелких пороков, продажности стяжателей и бесконечного убожества людей, отдавшихся в рабство своим похотям, или ты боролся с титанами разложения и знаменосцами духовного упадка?

— Я и думать не думал о какой-либо борьбе с правителями-деспотами и знаменосцами духовного разложения. Я желал только одного — бегства. Я не был борцом, однако стремился сохранить духовную чистоту.

— В стороне от арены непрерывной битвы с нравственной порчей даже святой не сможет сохранить свою святость. Оставаться в стороне — означает отдаться болезни, а бегство — это предел малодушия.

— Наверное, я достиг этого предела, когда обрел тебя, о, учитель! Никакой силы уединение мне не принесло.

— Однако, когда ты взял мешок и отправился вслед за мной — без вопросов и лишних слов, — ты почувствовал, что ни о каком бегстве и уединении больше речи быть не может, а впереди у нас — война не на жизнь, а на смерть, не так ли?

— Да... Почувствовал... Дашь ли ты мне теперь снова разрешение задать тебе вопрос: куда мы идем и когда мы будем у цели?

— Не настолько поздно, чтобы состариться душами, — но только если наш призыв будет услышан по всей этой стране, а затем и по всему миру, и его эхо дойдет до всех последующих поколений... Мы должны найти все те светлые места, которые человек оставил позади, пройдя мимо них и не заметив их света, должны найти те очаги, в которых, к счастью человека, Господь еще поддерживает огонь.

— О, Учитель! Вы говорите так много нового, а до сих пор — по прошествии месяцев, а может, лет — к нам никто не присоединился, а ведь вы требуете самого большего. Стало быть, нужно, чтобы ваши слова слышали все, — слышали и увидели разницу между вами и вашими предшественниками, потому что в нашу эпоху постоянно и повсюду возникают самозванные пророки, претенденты на благодать Божью или по крайней мере на духовное лидерство, а также всякого рода псевдомудрецы. Нужно, чтобы вас, о, господин, чьи глаза подобны алмазам, чтобы вас увидели и узнали все, потому что вы уже давно — я уже не помню сколько — не произносили слова.

...Этот великий человек, стремившийся к тому, что внешне напоминало пророческую миссию, но при этом считавший себя недостойным ее и ни о чем подобном и не думавший, вдруг остановился и сказал:

— Непрестанно занимайся исправлением своих ошибок, ибо человек постоянно заблуждается. Я пришел не для того, чтобы сказать что-то новое. Но и повторять то, что говорили мои предшественники, я бы не стал, даже если бы мог. Все, что должно было быть поведено человеку, уже поведено ему самым наилучшим образом до меня, самыми лучшими, чистейшими, доходчивыми, спасительнейшими словами. Однако

человек за все прошедшие тысячелетия не разу не дал себе труда внимательно выслушать то, что ему говорилось, и правильно применить это на практике. Слышал, и даже подчас великолепно, но слышанное не достигало того великого двигателя, который Господь дал ему. А довольствовался тем, что повторял красивые фразы. Вместо дела занимался проповедями. И так уже несколько тысяч лет. Я же пришел для того, чтобы стереть пыль с надгробной плиты над могилой слов, сказанных великими, которые приходили прежде меня. Минувшее всегда покрыто слоем пыли. Время минуло, и прахом забвения занесло слова пророков и подвижников — эту благую весть, ни-спосланную Господом Богом...

Я хотел было высказать ему впервые свое несогласие: «Зачем же Господь Бог сотворил такое время и позволил, чтобы прахом забвения заносило слова Его пророков?» — но вдруг увидел, как чья-то тень приблизилась к моей.

— В эпоху всех невзгод, всех скорбей что имеет сказать этот осанистый старец?

Старик сказал мне, своему первому ученику:

— Наша задача — не говорить, наша задача — заставить слушать. Спроси же у него, насколько он в состоянии слушать, воспринимать и претворять в жизнь. Мы посланы в конце концов не для того, чтобы ходить да говорить, мы посланы, чтобы преобразовать.

Обладатель тени придвинулся ко мне и резко сказал:

— Если б это действительно было возможно! Ради этого я оставил свою жену, детей, ремесло, свой садик, свою лодку и свои снасти!

— Скажи, что так привлекло тебя в нашем старце?

— У твоего старца твердая и уверенная поступь, в его глазах лучатся алмазы надежды. Ничего подобного я не видел раньше. Поэтому я повторю свой вопрос: с чем пришел к нам этот старец, какими словами хочет он обратиться к верным, благочестивым и самоотверженным ученикам?

— Никакими, кроме тех, что сказаны его предшественниками.

— Ах, неужели в нашу эпоху бесполезных новшеств этот первопроходец не имеет за душой никакого нового слова?

— Да, это так, о, новоприбывший рыбак. Послушай же моего старца и узнай, насколько ему стыдно и повторение сказанного. О, учитель! Этому молодому рыбаку с мозолистыми, натруженными руками суждено стать твоим вторым учеником, ибо, чтобы прийти к тебе, он оторвался от самого себя. Так скажи ему то, что он хочет услышать.

— Брат мой, — сказал мой учитель, — знай, что все подлинно полезные, спасительные новшества уже вводились в прошлом — и уже забыты. Сто двадцать четыре тысячи благодатных весен оставил после себя человек, и столько же раз он прошел сквозь цветущую летнюю пору, и столько же бескрайних небес видел он, и столько же жарких солнц, дающих силы для роста и плодоношения, и столько же источников, дарящих живую воду, изведал. А ныне, в эту долгую осень, страдающий и смятенный, бросился на поиски якобы спасительного нового. Однако до тех пор, пока человек не поймет, что смотреть нужно назад, а не вперед, ему не придется ощутить ни единого мига душевного ликования и не отведавать ни единой капли радости бытия.

— Ну и ну... Это само по себе очень новое слово, несущее в себе, правда, и горечь отступления — возврата. Если вы, учитель, сможете обосновать это, у вас появится множество учеников и весь мир будет у ваших ног.

— Мне самому не нужны ученики. Я ишу учеников для тех, кто прежде меня приносил человечеству самые лучшие послания. Эти мудрецы — словно огромные благоуханные розовые кусты, человек же оставлял их позади, в бесплодных песках,

и шел искать точно такие же в будущем. Это — великая болезнь человеческого духа, постоянно смотреть в будущее и не верить тому очевидному факту, что большая часть всего времени уже в прошлом, а то будущее, что осталось, тоже мало-помалу перейдет в прошлое и человек — голодный, жаждущий, несчастный — снова направит свой взгляд вперед и увидит, что будущее исчерпано...

Никто не задумывается над тем, что, если бы будущее было безгранично и неисчерпаемо, это бы означало, что оно тождественно абсолютной сущности — Богу, а если будущее есть Бог, то и прошлое — часть Его сущности, поскольку прошлое происходит из будущего. Но такая раздвоенность Бога нереальна, ибо Бог — един и неразложим на составные части. Он абсолютен и беспределен. Следовательно, мы должны согласиться с тем, что будущее — ограничено, и так как оно находится в текущем состоянии, большая его часть уже перелилась в чашу минувшего. И человек, ищущий свое счастье, найдет его только в райских садах былого — не в будущем, которое день за днем погружается во все более сгущающуюся темноту, в слепое знание, знание без веры и идеала, знание ради знания, а не ради освобождения человечества от оков скорби и нищеты... Это знание ему не поможет.

Я знаю, что и прошлое, и настоящее состоят из субстанции будущего.

Но я знаю и то, что самые лучшие части этой единой субстанции человек оставил про запас, не собираясь пока к ним прикасаться, ибо любой возврат к вере и морали отберет у него те краткие мгновения эфемерного наслаждения и обманчивых радостей, к которым он привык...

Так вот: я пришел для того, чтобы сказать человеку моей эпохи, что все глубокие спасительные и приносящие радость начала и основы человеческого бытия находятся в прошлом.

Теперь уже никто — никакой великий пророк — не явится, чтобы принести с собой призыв к изменениям.

Человек не сможет одержать победу над своей злополучной судьбой с помощью компьютеров, даже самых мощных, но, лишь взглянув краем глаза на свои духовные основы, он обретает внутреннее спокойствие и сбрасывает с плеч бремя вековой усталости.

Немного подумав, рыбак сконфуженно спросил:

— Не тот ли вы человек, который, как говорили, придет однажды, чтобы только посмотреть на основы и принципы?

— Никто никому про меня говорить не мог. Но, возможно, возможно, я возглавляю авангард того войска, главнокомандующий которого, совершая Круговой путь, из прошлого придет в будущее, а из будущего — в настоящее, чтобы донести до настоящего весть о былом.

— Но ведь мы ждали вас, ждали многие годы.

Я удивился и спросил второго ученика:

— Вы ждали этого старца? Долго ли? И где?

— Очень, очень долго, и везде. С тех пор, как в человеческой душе что-то стало подвергаться опасности, а затем разрушению и человек стал думать, что все основы давно обветшали, покрылись плесенью и прогнили — только потому, что он больше не находил им полезного применения, — с тех пор как большинство забыло про веру, поскольку никакие пророчества не сбывались. С тех самых пор наша небольшая кучка — люди, стремившиеся к сохранению своей веры, — встала перед тысячей всевозможных вопросов и мало-помалу оказалась посреди пустыни безответственно-

сти — и никто о нас не думал, и не пытался нас спасти, и не протягивал руку помощи, чтобы спасти нас от смерти Бахрама Гура⁷...

— А теперь есть надежда на спасение?

— Не знаю, для того ли пришел этот старец с алмазными глазами и крепостью в теле, чтобы протянуть руку помощи. О, Учитель! Дадите ли вы ответ на вопросы своих современников, которые еще хранят веру и которых подстерегает смерть Бахрама?

— По-новому — не дам. Новыми наставлениями, проповедями, новой логикой и новой этикой — не дам. Если же им будет достаточно того, что говорили мои предшественники, то я дам ответ. Именно для этого я и пришел.

— Так сделайте же то, для чего вы пришли, Учитель. А послушают вас или нет — за это вы не отвечаете, не так ли?

— Нет. Я послан только для того, чтобы вершить перемены во благо нации, опираясь на заветы своих предшественников.

— Но не переходя некую запретную линию, не так ли?

— Если мы научимся бегать и летать, никакой сковывающей нас границы не будет.

— Попробуем.

— Начнем.

...Затем второй ученик, который знал больше меня, начал расспросы:

— Почему люди не стали слушать ваших великих предшественников, которые хотели человеку только блага и были посланы на Землю абсолютной сущностью, которая есть Добро? Почему люди отвергли счастье, источающее аромат райского сада и Божий дух, и обрекли себя на нынешнее прозябание?

— Повремените немного, прежде чем мы утолим жажду из этого источника, — сказал учитель. — Присев в тени дерева, мы вкусим хлеба, совершим намаз и тогда приступим к беседе, которую — и подобные ей — справедливо считают самой бесконечной беседой, что вел когда-либо человек с человеком...

(Продолжение следует)

⁷ Один из древних иранских шахов, трагически погиб.

СОТЕРА МЕГАСА

Фархот Абдуллаев*

Я был переводчиком с английского. Еще школьником услышал песни «Битлз» и влюбился в этот язык. Закончил «иняз» нашего Душанбинского пединститута и по распределению попал в местный «Интурист» — была такая крутая контора. Работал гидом — сопровождал иностранных туристов в поездках по республике. Иногда подрабатывал левыми письменными переводами. Часто приглашался на всевозможные министерские тусовки и приемы: ведь без переводчика там не обойтись. Завел полезные знакомства и скоро стал довольно известным в нашем городе человеком. Потом у меня появился свой «приятель» из спецслужбы. А надо сказать, что почти у каждого серьезного переводчика был такой приятель, которому он сливал нужную информацию. Взаимоотношения наши были просты и не особенно меня отягощали: я давал ему сведения о приезжих, а он взамен проталкивал мою кандидатуру, когда речь шла о выгодной работе. И ему хорошо — держит свою мохнатую лапу на пульсе, и я получал возможность добыть лишнюю копейку. В общем, жил по прежним меркам неплохо... И вдруг, как гром среди ясного неба, сначала развалился «могучий» Советский Союз, а потом грянула гражданская война: таджики таджиков ни за что ни про что мочить начали. Ну, прямо как в сказке: «Тили-бом, тили-бом, загорелся Кошкин дом». Большинство моих соплеменников, русскоязычных, как их стали называть, испуганными косяками потянулись в забытые ими родные места — на Вологодчину, во Владимир, в Саратов... А я остался. Куда уезжать? У меня же все здесь похоронены, и отец с дедом, и мать с бабушкой. Сестра с мужем, геологом по профессии, на самый Север — в Мурманск — уехала, а мне там что делать? Полярных медведей английскому языку обучать? Нет уж, простите великодушно, но я как-нибудь здесь, на прикормленном месте перетолкусь. И продолжил заниматься своим делом — почти так же, как в мирное время. Правда, туристы у нас сразу пропали. Вместо них покатили охотчие до «горячего» журналисты, да еще какие-то странные люди — сплошь чьи-то «официальные представители», в которых без труда угадывались шпионы. А тут еще приятеля моего в мае, во время первых уличных боев в Душанбе, превративших столицу в город-призрак, уколошили, и остался я без поддержки. Сирота-сиротинушка... Некому было теперь замолвить за меня нужное слово, чтоб к очередной группе переводчиком протолкнуть. Поэтому зарабатывать я стал в основном переводами каких-то сумасшедших бизнес-планов наших доморожденных бизнесменов. Платили они не очень, да еще все норавлили вместо наличных денег сунуть какие-нибудь никому не

* Фархот Абдуллаев (р. 1956). Окончил исторический факультет Таджикского государственного университета и ВГИК (отделение режиссуры художественного кино). Режиссер и автор сценариев документальных и художественных фильмов: «Чужая игра» (худ.), «Таджикистан — военные хроники» (док.), «Возвращение» (док. — участник Парижского кинофестиваля «Синема дю реель» 2001 г.), «Ловитор» (худ. — участник Берлинского кинофестиваля «Берлинале» 2006 г.), «Тень отца» (худ.) и др. Живет и работает в Москве. Член гильдии режиссеров СК РФ.

нужные товары. Мыла у меня теперь — сколько хочешь, вся квартира провоняла. Да что мыло! Мыло — это полбеды, были и такие, кто досками расплачивался и пакетами целлофановыми! В общем, морока одна... Вот и в это не очень жаркое утро конца июля 1992 года мне нужно было закончить перевод очередного делового письма о поставке партии виртуального алюминия за рубеж, чтобы получить плату, которой вряд ли хватит на покупку даже пары лепешек. Я как раз сидел за пишущей машинкой, когда раздался этот телефонный звонок... Нет-нет, звонок раздался чуть позже, я уже успел сварганить себе на спиртовке — газа-то у нас уже больше года как не было — паршивый кофе и как раз собирался его пригубить. Точно! Я взял чашку в руку и, подойдя к окну, посмотрел во двор — там, как всегда в эти дни, никого не наблюдалось, беспорядочные обстрелы приучили народ понапрасну не высываться... Отхлебнул своей бурды, задернул штору и двинулся назад к машинке. Как вдруг — зазвонил телефон. Я сначала даже не понял, что это за треньканье. Кто-то месяц назад срезал кабель — должно быть, на продажу, — и весь наш район остался без связи. До меня не сразу дошло, что это натужно пиликает он, мой любимый «панасоник», настойчиво призывая меня ответить на его зов. (О, как я обожал этот противный звук, особенно когда у меня в гостях была какая-нибудь прелестная дамочка!) Одолев оторопь, я торопливо схватил трубку. Но когда понял, кто говорит, то совсем обалдел: уж не глюки ли?! Это же был мой пропавший приятель! Никаких сомнений! Он!!! Мне ли не помнить его тихого, с хриловатым придыханием, голоса! Странно, но мне кажется, что он даже и не подозревал, что все мы считаем его умершим, — так уверенно Хаким (черт, я только-только успел забыть это проклятое имя!), повел разговор.

— Привет, Андреич! Как дела? — он всегда звал меня «Андреич», хотя прекрасно знал, что я терпеть не могу это дурацкое прозвище. Нет бы сказать по-человечески — Андрей... Или по фамилии — Брагин... «Андреич» я ему!.. Тьфу! Три раза... Как полага-

ется.

— Нормально, — отвечаю. — Сам-то как?

— Все путем. Слушай, Андреич, тут, кажется, хорошая работенка для тебя под-вернулась...

Конечно, при упоминании о работе все мои сомнения по его поводу улетучились. Жив он — живехонек! — и никогда не умирал, сволочь такая!..

— Да? — говорю. — Рад слышать!

— Еще бы не рад...

Я просто нутром чуял, как он довольно усмехается. Знает, что мне работа позарез нужна. Бог ты мой, а вдруг действительно поможет, а? Равнодушно с ним говорю, тяну время, а сам нервничаю: неужели и впрямь какие-то психи снова наведались в наш благодатный край? Благодатный — это я сейчас специально загнул. В то, еще доперестроечное, время мы часто употребляли этот словобудный термин, а сейчас-то какой, к черту, благодатный?! Лучше сказать — черная дыра!

А приятель, похохатывая, спокойненько так продолжает:

— Наведались, наведались. Прослышали, что мой дружок, разлюбезный Андреич, без работы сидит, и тут же засобирались... Да ты их знаешь! Помнишь, чудики в белых одеждах приезжали?

— Зороастрийцы, что ли?

Действительно, пару лет назад, еще в самый разгар митингов и демонстраций (вот она, демократия-то, на наши головы!), приезжали к нам такие иностранцы — несколько старичков и одна женщина. Все в белых, как снег, одеяниях. Из Индии прибыли. За старшего у них женщина была — настоятельница зороастрийского монастыря в Сринагаре — это где-то на западе Индии. А старички — какие-то большие шишки в их религиозном сообществе. Ну, встретили мы их и, как полагается, повезли

по полной программе — на Гиссарский алюминиевый завод, на Нурекскую ГЭС... А что у нас показывать «забугорным»? Самое большое на Востоке промышленное предприятие, самую высокую в мире плотину!.. А они нас все в горы тянули — мол, здесь родина нашего древнеиранского пророка Зороастра (они его Зардуштом называли), мы хотим своими глазами увидеть места, где он проповедовал... Естественно, наша местная интеллигенция сразу же, как мыши на сыр, набежала. Послушать этих болтунов — они в душе всегда продолжали оставаться зороастрийцами и никакой другой религии знать не хотели! Настоятельница поверила, пообещала представительство своего монастыря в Душанбе открыть, культурный центр авестийский и все такое прочее. А кто его знает, может, и открыла бы, да как грянула война — так все и пропало. Где она теперь — эта интеллигенция? По норам, так же, как я, разбежалась и сидит, носа не высунет, а кто высунул — тому его вместе с башкой давно отстрелили...

— Ага, — говорит Хаким, — они!

— Чокнулись, что ли? Какого черта их сейчас сюда принесло?

— Вот и мне интересно, — смеется Хаким и потом тихо так (он всегда, когда говорит «по должности», сразу тон понижает): — Надо бы их обслужить, Андреич...

— Да ради бога! Ты позвони в нашу «контору», скажи, что я готов и...

— Никуда я звонить не буду. Сам знаешь, не те времена. Ты давай сам туда наведайся и попадись им на глаза. Они тебя помнят.

— Когда прибывают? — спрашиваю.

— Да приехали уже, утром сегодня. Давай, Андреич, ноги в руки и вперед, и смотри там, на улицах осторожнее!..

— О'кей, — говорю. — Заметано!..

Какое-то время я осмысливал разговор, а потом решил все-таки прозвонить в «Интурист». Там у меня подружка — Гуля ее зовут. У меня с ней «отношения». Дай, думаю, спрошу на всякий случай. Поднимаю я снова телефонную трубку — «панасон» мой молчит, как в гроб заколоченный. И это понятно — он уже почти месяц молчит, я же говорил... Другое непонятно — как же он только что работал?.. А может, не работал? Может быть, мне показалось? Я даже перепугался: неужели крыша поехала? Да и немудрено бы было. Живу один, словом перекинуться не с кем. Даже кошки нет — то ли сбежала, то ли соседские пацаны на жаркое пустили, время сейчас — ой, какое голодное... Нет! Запросто крыша глюкануться могла! Сел опять кофе пить, — а он холодный! Сколько же времени прошло? Значит, я и вправду, забылся. Сидел тут, и пока, как дурак, в стену смотрел, «замкнуло» меня... А кофе-то и остыл! И что теперь, новый заваривать? Да нет, этот лучше допью... Сижу я, значит, смотрю, как привык, в стену и глотаю бурду, а изнутри меня, как ржавчина — чугунную сковородку, червь точит. А вдруг не показалось? Эх, если бы, правда, хоть какая-то работенка подвернулась! Купил бы себе нормальный кофе — не растворимый, конечно, а в зернах! Сидел бы сейчас, вдыхал пряный аромат... еще кардамончику бы добавил! Лафа!.. Или все-таки приснилось? Почудилось?.. Думал я, думал, потом решил: нет, чем черт не шутит, схожу-ка в отель. Ничего не выйдет, — так хоть на Гульку посмотрю. Давно пора помириться с ней и на уикенд пригласить. Сколько уже не встречались? Недели две или даже три. И поссорились-то из-за пустяка, да ладно, чего об этом...

* * *

Гулька мне не обрадовалась. Еще бы — недели три не показывался. Но сразу навела меня на приезжих, оказывается, настоятельница про меня уже спрашивала, но дозвониться они не смогли, телефон-то не работает. Я не стал распространяться про звонок, а сразу взял быка за рога.

— Сколько платят?

— Я не спрашивала. Наверное, нормально отстегнут, только...

— Ну вот, как запахнет деньгами, так сразу «только»... Что? Наличных нет, да? Я на перечисление не согласен. Из этих долбанных банков ни черта не получишь!

— Да нет, я не об этом, — говорит Гулька и смотрит на меня так ясно. — Им опять в горы надо поехать, понимаешь, чем это пахнет?

Еще бы не понимать. Тут по городу-то пройти спокойно нельзя, а им в горы приспичило...

— Им что, жизнь надоела? Ты объяснила им, что вокруг происходит?

— В том то и дело, что они все знают.

— И?!

— И все равно хотят. Они, говорят, потому и приехали, что война у нас началась.

— Ничего не понимаю! При чем тут война? Что им надо-то, вообще?

— Ладно, достал ты меня. Сам с ней встречайся и говори. Она в триста первом.

Иди, я сейчас позвоню, предупрежу...

Вопросов нет, говорить — так говорить. Оставил я Гульке цветочки, сорванные на городской клумбе с риском для моей неприкаянной жизни, и двинулся на третий.

...Ну, про то, как мы с ней встретились: все эти «ай эм глэд ту си ю», и «ай эм хэппи!» — рассказывать не буду. Значит, сидят они двое: какой-то мужик с глазами навывкат — *мубад* (то бишь священник, или жрец, по-нашему) и дамочка. На этот раз не в белых одеяниях, как тогда, в прошлом году, а попроще... Законспирировались. И правильно сделали! Нечего наших снайперов дразнить. Они у нас и так не только в прилично одетых людей, в каждую курицу, что по глупости своей природной на улице покажется, пальнуть норовят...

Пригласили они меня сесть и перешли к делу. Так и так, говорят, нужно срочно выехать в горы. Что само по себе дико, согласитесь! Но самое прикольное — другое! Я у них вежливо спрашиваю: кой черт их туда несет? Они отвечают: мол, нам нужно найти каких-то людей, ну, семью одну, но где именно искать, они не знают. Вот такие дела. Просто дурдом! «А как же их искать, — спрашиваю, — вам хоть фамилии известны?» — «Нет, — говорят они, — не знаем! И адреса точного тоже нет, только название кишлака известно».

— Чуянчи, — говорит дамочка, — Чу-ян-чи!

Как-то по-китайски это Чу-ян-чи прозвучало.

— Вы ничего не спутали? — спрашиваю. — Какое-то название не наше.

— Нет, — отвечает мне мисс, — я не спутала. Это совершенно точная информация.

Смотрю — она карту разворачивает и показывает на ней примерное местоположение села. Довольно большой круг карандашом нарисовала — в этом вот районе, говорит... Ха-ха-ха. Три раза! Потому что в этом маленьком кружке — я это и без карты знаю — десятка три кишлаков! И на дорогах — полный бардак и беспредел!.. Я ей это все объяснил. А она смотрит на меня укоризненно и качает головой.

— Нам очень нужно найти их, Анджей! — она меня еще с прошлого года Анджеем называет. — Очень нужно. Мы заплатим вам большие деньги!

Интересно, думаю, большие — это сколько? Прикинул, что баксов сто или, на крайняк, двести, а как спросил, то обалдел просто.

— Десять тысяч.

— Это хорошая сумма, — лепечу, а у самого все внутри похолодело.

— Вы будете работать вместе с той девушкой, ее Гуля зовут. Она будет помогать вам.

— А, так деньги пополам? — у меня от сердца немного отлегло. Все-таки пять тысяч — не десять, спокойнее как-то.

— Нет, ей столько же.

Ну и все, тут я спекся. Куда ехать? В Тмутаракань? Согласен. К черту в пекло? Тоже готов! Да я за такие бабки на все что угодно готов!

...Отсчитала она мне аванс, прямо скажем, очень даже нехилый, чтобы я транспорт подходящий нашел и продуктами запасаю. Ага, думаю, мне на это полдня хватит, а вот вечером... Вечером надо Гулюку к себе в гости затащить. Нам же работать вместе, а она — дура, носик свой миленький от меня воротит. Непорядок...

— Гулёк, милый ты мой, ну что мы как неродные, а? Ну поехали, я вон машину специально задержал, а? — прошу я и улыбаюсь.

— Пошел ты... Не будет у нас с тобой ничего, никогда не будет!

Я, конечно, ни на грош ей не поверил. Положил руку на колено и ласково так в глаза заглядываю. Прежде она против этого приема устоять не могла. А сейчас, смотрю, в глазах не нежность мелькнула, а, наоборот, что-то злое, чужое... Я даже испугался немного — и руку отдернул. Нет, не пойдет она со мной. И вполне может быть, что действительно, больше никогда не пойдет! Ну и черт с тобой, не очень-то и хотелось. Главное в нашем деле что? Главное — вовремя слинять, верно? И вообще, с такими бабками кто мне здесь теперь нужен? Уеду! Меня вон давно сестра в Мурманск зовет. Получу money — и только вы меня и видели! Пропадите вы все пропадом вместе с вашими разборками!

— Хорошо, — говорю. — Тогда жди меня завтра утром. Ко мне водила к пяти доберется, в шесть мы у тебя уже будем. Потом сюда. Предупреди-ка нашу мамзельку, пожалуйста, чтобы к семи спускались.

— Не надо за мной заезжать, я сама до гостиницы доберусь!

Ну дает, а?! Да пошла ты! Хочешь пешком топтать — пожалуйста! Я не подаю вида, что злюсь, наоборот, улыбнулся.

— Договорились! Договорились, малыш...

— Вот именно! — говорит. И смотрит так противно, с подначкой.

Я не стал отвечать. И так все ясно. На том и расстались...

* * *

Как хорошо вот так, утречком, на дороге! По сторонам от шоссе кишлаки растянулись, от них приятно дымком тянет, листвой палой. Как говорится, «осень, однако»... Водила мне попался нормальный, цену не заломил. Еще бы, работы сейчас ни у кого нет. За десять баксов в день договорились, так он мне еще благодарен остался. Я же ему аванс сразу за три дня вперед дал, его жена чуть не расплакалась: будет, мол, на что детишкам и хлеба купить, и масла...

Тьфу ты, черт! Какая-то корова дурная — худющая, мослы из-под кожи бутрами торчат, прямо на трассу вышла, еле-еле объехали. Водила смеется. Гости молча сидят. Эти двое, вообще, ужас как сосредоточены, мужик смотрит куда-то в себя, а дамочка, знай, что-то шепчет себе под нос да четки бирюзовые пересчитывает. Гуля моя, Гулёнок, в джинсах своих синих и в куртке-плащовке, классно смотрится. Ничего не скажешь, жалко такую красотку терять. Ну ничего, дорога впереди длинная, еще помиримся. И не из таких положений выходили, да, Андреич?.. Ничего себе! Я себя, любимого, раньше так никогда не называл! С кем поведешься...

— Извините, — говорю, — мисс, но нам нужно обсудить план действий. Скоро будет город Гиссар — это центр того района, который нам нужен. Может быть, мы заедем в управу — хукумат по-нашему — и наведем справки насчет кишлака, которого почему-то ни на одной карте нет. Вдруг они нам что подскажут?

Мисс коротко взглянула на меня. Кивает.

— Хорошо, Анджей, делайте, как считаете нужным.

— Давай, — говорю я водиле, — Мирзо, гони сразу в город.

...Перед въездом в райцентр прямо на трассе вооруженные люди с автоматами топчутся. Блокпост, наверное. Их сейчас до дури развелось, у каждого столба свой хозяин. Подъезжаем. Мирзо многих здесь знает, часто же ездит, вышел, поговорил с ними, они покивали и идут к нам машину осматривать. Один — даже издали видно, что тоже, как я, русопятый, — сразу ко мне.

— Куда собрался, земляк?

— Да вот, иностранцев сопровождаю.

— На алюминиевый, что ли?

А что мне ему сказать? Про детскую задачку с двумя неизвестными? Зачем людям головы морочить?

— Ну да, на завод! Куда ж еще?

— Проезжай. Только, смотри, осторожнее, тут сейчас беспокойно. Шантрапа всякая бродит...

— Постараюсь!

Будто сам не шантрапа! Сволочь, автомат раздобыл и стоит тут!..

— Ну пока!

— Счастливо!

Вот и Гиссарская крепость показалась. Ее издали всегда видно. Значит, до города чуть больше двух-трех километров осталось. Если направо свернуть. Она же как раз на развилке стоит. Ох, сколько раз я сюда раньше езди! Видеть уже не мог эти высокие средневековые стены кирпичные, мавзолеи с лазоревыми куполами, говорливые толпы туристов... А сейчас безлюдно стало, тихо, и даже приятно вспомнить, сколько здесь народу когда-то собиралось — не протолкнуться!

Тут *мубад*, что все время тихо сидел и только по сторонам глазами зыркал, что-то забормotal. В первый раз что-то буркнул, и то непонятно.

— Остановиться надо! — переводит мне мисс.

Наверное, по нужде захотел.

— Тормозни, Мирзо, человеку на воздух нужно.

Мирзо останавливает возле деревьев — понимает, что к чему.

Тут *мубад* опять что-то по-своему говорит.

— Пожалуйста, ближе к воротам крепости, Анджей, — переводит мне мисс.

— Давай, к воротам рули, — объясняю шоферу, — не хочет он здесь.

Подъехали. *Мубад* выходит, мисс за ним. На пару, что ли, решили? Во дела! Нет, вижу, меня зовут. Подхожу.

— Скажите, Анджей, а в крепость можно войти? — спрашивает она.

— Можно, почему же нет!

Ну, наконец-то вся наша поездка превращается в нормальную экскурсию! Давно бы так. А то всё — иди туда не знаю куда... Заходим мы в крепостные ворота. *Мубад* глаза свои вытарашил и прет куда-то прямо. Чего ему там надо? Шагаю за ним. Он, гад, словно бывал уже здесь, шагает точно к развалинам — там раньше археологи раскопки древнего слоя вели. Вот он, остов главной башни — жилья самого владельца крепости... А *мубад* этот, как увидел в яме кирпичи, так и запрыгал вокруг. Что-то лопочет на своем — не на фарси, на котором таджики и персы говорят, а на другом языке, незнакомом. Ну, может, немного на какие-то памирские диалекты похоже, гортанно как-то звучит, как ораинный клекот. Мисс ко мне поворачивается, в ладоши радостно хлопает.

— Правильно едем, Анджей! *Мубад* говорит, что он уже видел эти стены!

Ну и хорошо, думаю, что видел, мне тоже приятно. Только, где он их, родной, мог видеть, если первый раз здесь? Да ладно, это их дела.

— Гулька, слышала? Правильно едем!

— Неглухая.

Ох, и колючая она, стерва, когда сердится.

Мубад поднялся на самую вершину стены и смотрит по сторонам. Мы снизу стоим и ждем. А он там чего-то присел — неужели и впрямь нужду справлять будет?.. Нет, молится прямо на восход. Ух ты, как красиво солнце встает! Пожалуй, и я поднимусь, полюбуюсь чуток... Но только я двинулся вверх, как мисс — хватъ меня за руку! — и держит, не отпускает.

— Нельзя, Анджей! Нельзя!

— Почему это?

— Он работает!

Что? Кто это там работает?! Смотрю, действительно, *мубад* этот руками вверх и в стороны водит. Что за ерунда?! Да ладно, не очень и хотелось... *Мубад* закончил свои дела, спустился и что-то сказал мисс. Она кивает в ответ, тоже что-то лопочет, а потом поворачивается и ко мне спешит.

— Анджей, не надо в райцентр! Надо на юг! Там Чуянчи.

— Да откуда вы знаете?!

— *Мубад* увидел...

Иными словами, брешет *мубад*. Я-то прекрасно знаю, что с этой стенки увидеть можно, — холмы одни лысые и уходящие ввысь заводские трубы алюминиевого комбината. Но спорить не буду, мне не за это деньги платят.

— О'кей, — говорю. — Если увидел, то надо ехать. — А сам, проходя мимо Гульки, тихо добавил: — Чтоб ж... свои на наших грунтовках в котлеты разбить и быстро-быстро назад в райцентр вернуться...

Она даже не усмехнулась. Ничего себе! Что у людей с юмором стало? Раньше ведь то и дело заливалась хохотушка...

Снова расселись в машине (*мубад* почему-то на мое, справа от водителя, место плюхнулся). И двинули на юг...

* * *

Говорил же я, в райцентр, в Гиссар надо ехать! Ну и где он, твой чертов Чуянчи, горе-проводник?.. Молчит. Сидит себе в углу, закрыл ноги плащом — и молчит. Раньше молчать надо было... Целый день по холмам мотались, почти десять кишлаков объехали — и ни одного тебе Чуянчи. А тут еще «афганец» подоспел. Сначала все небо желто-бурым цветом заволочло, солнце едва просвечивает. А потом пыльная буря — как шарахнет!.. Ну, «афганец» — он и есть «афганец». Хорошо еще, мы недалеко от кишлака одного оказались. Не Чуянчи, конечно, а Шарора — так назывался. Остановились у крайнего дома, попросились на ночлег. Люди здесь сердобольные, сразу пустили. И денег никто не потребовал — дикари еще... Сидим теперь, чаек хозяйский попиваем. Невестка хозяйина беременная — и так пузо торчит, а ей, видать, мало показалось, она его для лучшей видимости еще платком шерстяным обтянула и бегае́т туда-сюда, ужин проворит. Жрать-то, правда, ой, как хочется... Попытался хозяйину свои консервы предложить — чуть не обидел старичка. Точно, обидел: ишь, даже в глаза теперь не смотрит. Жаль, старичок-то клёвый попался, веселый. Ладно, придумаю что-нибудь. Внучкам его, соплюшкам маленьким, при отъезде по доллару подарю, будет потом чем перед соседями похвалиться!

А *мубад* все что-то бормочет.

— Он говорит, Чуянчи где-то здесь, рядом! — переводит мне мисс.

— Рядом мы все объехали! — отвечаю. — И кроме приключений на одно место так ничего и не нашли.

— Надо верить ему. Он знает!

Я плечами пожимаю.

— Пусть уточнит, если знает.

— Он знает!

— Слушайте, не морочьте мне голову! — не выдерживаю. — Давайте, я сам пове-ду вас. Если это Чу-ян-чи где-то существует, я его найду. Хоть в Китае! А если нет его — так на нет и суда нет. Согласны?

Мисс переводит *мубаду* крик моей души. Он вдруг пристально смотрит на меня — и снова что-то бурчит, а глаз своих черных-пречерных с моего лица не сводит.

— Он говорит, что вы найдете! — переводит мисс.

Я даже поперхнулся. Обалдел он, что ли? Как я найду, если его нигде нет?!

— А может, — говорю, — у нашего хозяина спросим?

— Он не знает! — снова переводит мне мисс слова *мубада*.

— А вот мы проверим.

Заходит наш суетливый старичок, и я так ласково — надо же помириться! — спрашиваю. Так, мол, и так, люди эти иностранцы настоящие, издалека к нам приехали. Они ищут своих родственников, которые живут в кишлаке... как же его звали? А! Чуянчи! Чу-ян-чи! Он, случайно, не слышал о таком?

— Нет, гости дорогие, не слышал.

— Значит, нет здесь такого кишлака?

— Я не знаю. Я же не местный.

— Как это не местный?

— Мы сюда лет пятнадцать назад как переехали. Раньше в Каратаге жили. Знаете такое место?.. Там оползень страшный случился, полкишлака засыпало, много людей погибло, а тех, кто живой остался, власти сюда переселили. На голые холмы. Все с нуля обживать пришлось.

Черт возьми, а ведь действительно, откуда ему знать? Но тот, что в углу сидит и на меня таращится, откуда он знает, что этот не знает?! Тьфу! Час от часу не легче. Сижу за дастарханом, болтаю, что в голову взбретет, а сам думаю: все, хватит! Завтра же в райцентр!..

..Ничего у нас не вышло с райцентром. Утром — мы только встали, даже чаю попить не успели, старичок прибегает, взволнованный, борода трясется.

— Вы что?! Нельзя вам никуда сейчас ехать! Не пушу! Ночью большой отряд военных пришел! Гиссар окружили, там такая война идет — даже отсюда слышно!

А ведь и правда, снаружи какой-то гул слышится. И стены подрагивают. Минометы, что ли, бьют? Артиллерия?! Не разберешь... Но понятно, что туда пути нет. Придется делать ноги через окружную, а это крюк километров сто, а то и сто пятьдесят... Сказал мисс, что думаю.

— Мы не можем уезжать! — говорит она в ответ. — Мы обязательно должны найти нужных нам людей!

— Да как же мы их найдем? — спрашиваю. — Карты, на которой кишлак Чуянчи указан, у нас нет. Можно было бы поискать в архиве райцентра. Но там война. Спросить не у кого. Так что сейчас у нас только один путь — назад в Душанбе. А потом, как здесь поутихнет, вернемся.

А этот *мубад*, качает головой и громко повторяет: На! На! На!... — и еще что-то непонятное добавляет.

— Не утихнет, — переводит мне мисс. — Надо сейчас искать...

Вот навязались на мою голову! Ну идиоты, идиоты! Ну как искать, когда, того и гляди, башку к черту несут?! Подхожу к Гульке.

— Слышь, Гулёк, хоть ты объясни им! Убьют же!

— Мы взяли на себя обязательство и мы должны его выполнить! — говорит она мне. И спокойно так, как машина. Чудно! Никогда она со мной таким тоном не говорила. Боже! Ну что такое с женщинами происходит, когда они перестают нас любить?! А то, что она меня больше не любит, это и ежу понятно!.. И вдруг мне не по себе стало. Даже в груди засосало. Неужели она мне так сильно нравилась? Да если бы не нравилась, я б, наверное, не распереживался до такой степени!.. Ну нет, думаю. Черт с ними — пусть расстреляют, пусть даже убьют! Но я должен, должен, пока мы здесь, рядом друг с другом, воспользоваться моментом и переломить ситуацию! Не люблю, когда меня бросают. Просто ненавижу! Я лучше потом, когда она мне вконец надоест, сам ее брошу!..

* * *

На следующий день, когда «афганец» немного сдал, я взял Мирзо и пошел на разведку. Похожу, думаю, по кишлаку, может, выясню что?.. Прошли мы кривой улочкой к сельской площади. А там человек сорок народу, то есть почти все мужики кишлака. Собрались, значит, стоят, и как тетерева на токовище, все в одну сторону смотрят, в ту, откуда канонада доносится!..

Мы подошли.

— Салом алейкум, уважаемые! — говорю.

Они обернулись.

— Ва алейкум вассалом! — отвечают. И каждый обе руки приветливо нам протягивает. Стоим, смотрим друг на друга. Потом один из них, сразу видно, что из интеллигентов бывших: под чапаном не национальная рубаша, а настоящий пиджак торчит, на неплохом довольно русском меня спрашивает:

— Что теперь делать собираетесь, уважаемый?

— Подождем, пока утихнет, и дальше поедем.

— Смотрите, будьте осторожны, опасно сейчас! У нас тут один сосед неделю назад по объездной дороге в город поехал, так и пропал без вести. Вон, того человека племянник.

Оборачиваюсь к дяде и, кивнув, обе руки к груди прижимаю.

— Сочувствую вам! — говорю.

На Востоке первое дело — сочувствие. Если сопереживаешь человеку в радости или горе, значит, ты воспитанный человек и с тобой можно иметь дело. А если нет — ты чурбан чурбаном, и толку от тебя не будет!.. Постояли еще немного. Я закурил, они насваем — табаком таким, что под язык кладут, — друг у друга угостились. И молчим. Стало быть, хорошо, думаю, что мы сегодня по объездной не рванули!.. Искали бы нас потом!.. нет, даже и не искали бы, кто про нас знает?

Тут этот мужичок тихонько мне на ногу наступает.

— Пойдемте ко мне, что тут стоять, я вас чайком угощу!

— Спасибо, — говорю, — но мы только что попили.

— Все равно пойдемте. У меня мед такой, закачаетесь! — А сам снова на ногу наступает. Я догадался, что ему от меня что-то надо.

— Ну, хорошо. Только недолго, а то нас люди ждут.

— Пять минут!

Простились мы с остальными и двинулись на другой конец кишлака. По дороге мне мужик этот представился. Хамза его звали, он раньше учительствовал в Гиссаре, а сейчас, когда школы все закрылись, здесь у родственников сидит, их хлеб ест. Я ему тоже про нас рассказал, с Мирзо познакомил и осторожненько так про Чуянчи спро-

сил. Нет, не знает такого места, он тоже из переселенцев! Весь их кишлак раньше в другом месте проживал, далеко отсюда. Жаль.

...Приходим к нему. В доме у него — никого нет, жена с детьми к братьям в другой кишлак в гости уехала. Понятно, скучно мужику одному, вот он и потащил к себе приезжих. Поболтать захотелось. Усадил нас в комнате для гостей и начал про жизнь разговаривать. Черт, так и знал, что этим дело кончится!

— Это давно ожидалось, — говорит Хамза. — Как власть в Москве от старости до того одурела, что в Афганистан с оружием поперла, так и у нас народ закопошился. Союзы какие-то появились, землячества, религиозные общества. Поначалу тихомирно дело шло, а теперь, видите, все по-настоящему развернулось, с оружием и стрельбой. Каждый сам себе власть. Все хотят кусок пожирнее урвать и на все готовы ради этого.

— И чем все это, по-вашему, закончится? — спрашиваю.

— Как чем? — говорит Хамза. — Перебьем друг друга! Кровью своей истечем. А когда совсем ослабеет, другие придут, из-за границы накатят. Все, что останется, себе заберут. Пропадет и народ наш, и страна.

— Если вы все это понимаете, как же допустили такое?

— А кто нас, простых людей, слушать будет? Народ совсем бешеный стал. Вы вот сегодня моих соседей видели!.. Что про них скажете?

— А что сказать? Мирные люди, дехкане!.. разве не так?

— У половины из них дети — боевики, в вооруженных отрядах воюют!

— Да вы что?!

Черт возьми, вот попали, так попали! Как же отсюда выбираться?

— Вам еще повезло, что вы в доме старого Мухамади остановились. Он, почитай, самый уважаемый в селе человек. Его старший сын Идрис — черный мулла. У него вас не тронут.

— Черный мулла! — думаю. — Час от часу не легче. Проповедует не официально — ваххабит, короче. В последние годы таких много стало. Ну и ладно. Законы гостеприимства все равно должны соблюдаться.

— В общем, пока дорогу не освободят, сидите тихо. А Мухамади вас не выгонит, сами понимаете. Вы же его гости!..

— Понимаю, уважаемый Хамза. Ну а вдруг Идрис приедет!..

— Не волнуйтесь. Идрис — он, может быть, очень вредный политик, но как человек вполне нормальный. Он в Курган-тюбе уехал. Как вернется, я с ним поговорю. Мы с ним в одном классе учились. За одной партией сидели. Он поможет вам добраться до Душанбе!..

Поблагодарил я Хамзу за совет и стал прощаться!..

Хамза проводил нас до площади. Она была уже пуста. Видать, народ послушал, да и пошел своими делами заниматься. А «афганец» все шумит и шумит, верхушки деревьев вокруг кишлака, как спички, ломает, и темно вдруг так стало, на пятьдесят шагов ничего не видно!..

Вернувшись к своим, я рассказал им все, что узнал. Ну, не все, конечно, — зачем же пугать иностранцев? Но главное разъяснил: никакого Чуянчи поблизости нет, никто о таком кишлаке не слышал, все здесь неместные, а туда, где местные, нам дороги нет; короче, дела наши плохи, и нужно сидеть тихо и ждать возвращения сына хозяина, Идриса, то есть. Тут *мубад* опять что-то пролопотал нашей мисс. Она мне переводит.

— Конечно, Анджей, мешают нам злые силы, сильно мешают, но мы не должны им поддаваться! Стихнет насланный ими черный ветер, и мы снова примемся за поиски. Давайте будем оптимистами!.. — и т.д. и т.п. Я даже разозлился. Тьфу ты, черт, ну ничем их не проймешь!..

Вечером, как ужинать сели, пришел к нам Хамза и с собой какого-то дряхлого старика приволок: дескать, он хоть тоже и не из местных, но все же раньше других сюда переехал и что-то слышал про нужный вам кишлак. Разговорились.

— Я еще маленький был, — шамкая беззубым ртом, начал старик, — мне мой дед говорил. Во времена последнего бухарского эмира Алимхана было такое: измучился народ кишлака Чуянчи от поборов властей, совсем обнищал. Люди от голода мёрли как мухи и мертвечиной питались. И решили идти жаловаться эмиру. Оделись в рогожи, на головы нахлобучили колпаки, из соломы плетенные, взяли в руки посохи — и двинулись в Бухару. А бек, как прослышал, что на самый верх жалоба будет, вскочил на коня и опередил их — первым к эмиру попал. Наговорил ему всякого: будто жители Чуянчи взбунтовались, сбились в отряд, вооружились и уже идут по стране народ к мятежу возбуждать. Неизвестно, поверил ему эмир или просто так, из глупости своей, решение принял, но приказал ему принять все нужные меры, чтобы они в столице не появились. Бек собрал войско, встретил нищих крестьян на подступах к Бухаре — и всех до одного уничтожил. Вот такая история...

— А где был этот кишлак? — спрашиваю, у самого внутри все трясется: неужели найдем, а? Не уйдут наши бабки?!

— Не знаю... По слухам, совсем замучил потом тот бек оставшихся жителей кишлака. Рассеялись, кто куда, многие в Афганистан подались, и кишлак совсем обезлюдел... Вымер окончательно, можно сказать.

— А где он находился, не припомните?

— Откуда мне помнить? Я и не знал никогда. Дед знал, но он уже много лет как навсегда покинул этот мир! — закончил старик.

Ну, думаю, понятно хотя бы, что не совсем околесицу несут мои иностранцы... С другой стороны, откуда им про этот кишлак известно, если даже здесь только один безумный старик что-то помнит? Да ладно, не буду себе голову забивать...

— Надо в соседних кишлаках поспрашивать, — советует Хамза. — Где коренные люди живут, в Ширкенде, например, или в Хонако... Кто-нибудь должен помнить.

Я киваю.

— Далеко? — спрашиваю.

— Километров сорок, — отвечает Хамза. — Да ведь сейчас не проехать, везде стреляют.

Вот спасибо, еще раз объяснил.

— А если не по большой дороге? Есть ведь объездные пути, наверное?

Задумался.

— Заплутаете. Проводников надо...

— Хамза, — говорю. — Я понимаю, ты из добрых чувств нам помогаешь. Но для нас это очень важно. Мы заплатим за помощь. Найди проводников.

Они со стариком посоветовались.

— Зачем кого-то искать? Мы сами вас проводим...

* * *

Целый день кружим на нашем «рафике» по этим горным дорогам. Такими маршрутами колесим, что волосы дыбом встают. Бедняга Мирзо уже проклял все на свете. И «рафик» свой тоже. Хорошо, что я *мубада* не взял. И баб наших с ним оставил. Так спокойнее... Но толку — чуть. Во всех кишлаках одно и то же. Как будто сговорились. Мол, как же, слышали о таком, а вот, где находится, не знаем... Еще советы дают: вы, уважаемый, у такого-то (имя называют), спросите, он в том-то или в том-то кишлаке проживает... Вот и сейчас тащимся в очередную дыру.

...Приезжаем. Внешне кишлак выглядит так же, как все предыдущие: десятка три домов за дувалами — стенами глинобитными, и пирамидальные тополя по периметру. Только людей почему-то не видно. Едва нашли одного — заведующим местного магазина оказался. По его словам, мародеры набегали грабительскими совсем их замучили, и жители, побросав дома, к родственникам своим в другие кишлаки подались. А он вот остался, не смог государственный товар на произвол судьбы бросить. Наивный. Где оно, твое государство?! Но я не стал ему ничего этого говорить. Зачем? Все равно же толку не будет. По лицу видно — упертый!

— Здравствуйте, уважаемый... Как себя чувствуете?.. Очень рад, что все хорошо! А вот не слышали ли вы когда-нибудь о кишлаке Чуянчи?..

— Да, — говорит, — слышал о таком, только он вроде не здесь. Не в горах, то есть. Он вроде внизу был, где-то там, в долине. Понимаете?

— Понимаю, — говорю. — А где «там»?

— Недалеко от Шароры.

— Мы как раз оттуда едем, нет там такого кишлака.

— Как это нет?! Да вы сами посудите, уважаемый, когда эти чуянчинцы несчастные в Бухару двигались, они ведь через наш кишлак с юга проходили! Значит, со стороны гиссарского ущелья шли!

Что ж, в логике ему не откажешь. Еще бы! Не зря же он — упертый!

Ладно, выслушали мы его и поехали обратно...

* * *

Мубад и мисс, как услышали от меня отчет о поездке, так чуть не запрыгали от радости. Мне даже смешно стало: взрослые ведь люди, а ведут себя...

— Мы верили, что Чуянчи где-то рядом, нам знаки были! — говорят.

И тут они мне такое порассказали — ну просто хоть плачь, хоть смейся. Никогда не подумал, что окажусь в таком положении. В общем, история тут вот какая. Лет эдак тысячи две с половиной или даже три назад проповедовал когда-то в этих местах Заратустра. Положим, это я и без них знал, Заратустра — древнеиранский пророк, и где же ему проповедовать, как не здесь, на своей родине? Важные вещи он людям сказал: дескать, есть в мире Добро и есть Зло, и силы, их олицетворяющие, суть — Ормузд и Ахриман. И между ними идет постоянная борьба — это я тоже знал, в институте изучали. Ну, и еще много важных вещей он им открыл: про то, что есть Ад и Рай, про Страшный Суд и прочие такие же интересные штуки. И его, естественно, за это убили. Но дело не в этом. Оказывается, если верить нашему *мубаду*, он как бы не совсем умер. То есть умереть-то он умер, но предсказал, что некогда снова возродится как Великий спаситель — *Сотера Мегаса* по-древнему — и снова будет нести людям правду. И что он уже много-много раз перевоплощался. То есть все — и Иеремия (да, Иеремия — ведь был, кажется, такой еврейский пророк?), и Христос, и Мухаммад, — все они якобы были реинкарнациями «Великого Спасителя» и проповедовали людям одно и то же... Только люди почему-то не понимали их и снова предавались Злу. И вот якобы пришло время нового воплощения — на этот раз последнего, — и должно оно произойти здесь, в его родных местах, в кишлаке Чуянчи. Ребенок, по древним предсказаниям, должен родиться золотоволосым и синеглазым, и если его вовремя отсюда не увезти, его убьют — это будет дело рук вечного врага Заратустры, духа Зла — Ахримана. Ну, примерно, как младенца Христа, в свое время, помните, вывезли куда-то, спасая от царя Ирода? Даже картина есть такая — «Бегство Святого Семейства» называется. Вот! И, соответственно, задача Совета *мубадов*, по чьему повелению действует настоятельница, — найти его и спасти от опасности.

— А как они, мубады ваши, об этом узнали? — спрашиваю. — Ну, что это все будет здесь, в Таджикистане?

— Чтобы опередить духов Зла, они тысячи лет в своих монастырях занимались тайными вычислениями, — отвечает мне мисс.

— Так, по-вашему, получается, что война наша для того и затеяна, чтобы какого-то несчастного ребенка убить? — спрашиваю.

Она кивает.

— Да, — говорит, — это все происки подлого Ахримана. Мы знали об этом. Поэтому к вам год назад приезжали, хотели заранее подготовиться...

Во дела, да? И как мне после этого себя вести? Правильно — никак! Морду лопа-той — и все. Делаем бабки, ребяга! А под какую музыку — дело десятое... Примерно так я сориентировался...

Мубад и мисс сели и наметили план действий. Поскольку, мол, ясно, что рождение Сотера Мегасы должно произойти где-то в этой округе, нужно лишь узнать, кто здесь из женщин на сносях, а дальше просто: мол, есть признаки, только им понятные, по которым можно определить, кто носит в животе простого ребеночка, а кто — некое надмирное чудо-юдо.

— Да кто ж вас к ним пустит? — спрашиваю.

Мисс и Гуля между собой посоветовались и ко мне.

— Мы это решили, — отвечает Гуля. — Объявим всем людям, что представляем благотворительную организацию, которая будет оказывать помощь новорожденным. Одежкой всякой и продуктами питания. Так что придется вам с Мирзо завтра по сельмагам детский товар искать.

А ведь Гулька-то поверила им! Точно, поверила! У меня от всего этого голова просто кругом пошла.

— Хорошо, — говорю, — поеду. Только учти, мы так все наши бабки на ветер пустим. Это я точно знаю. Сначала ползунки с бутылочками, потом еще что-нибудь... Так и промотаем все деньги!

— Не волнуйся, — обрывает. Да резко так. — Не переживай! Лично ты все свое получишь!

Мне кажется, что даже угроза в ее голосе прозвучала. Или это мне показалось?! Показалось, конечно, с чего бы это ей мне угрожать?..

Позвали мы старика. Так, мол, и так, бабушка Мухаммади, эти люди — иностранцы, они хотят оказывать помощь беременным женщинам. Есть у вас тут такие?

Старик обрадовался.

— Есть, конечно! Полно! Что у нас умеют как следует, так это детей делать! И у меня в доме есть старшего сына жена, вы же ее видели. Она должна разродиться. Даст бог, мальчик будет. А то уже трех родила — и все девочки... Вы ей тоже помогете?

— Поможем, конечно. Всем поможем. Только сначала надо списки составить. А чтобы не случилось злоупотреблений, наши женщины должны всех будущих матерей сами увидеть. А то ведь знаете, как бывает?

— Это правильно! Вам обязательно самим всех надо увидеть! Чтoб без обману... Народ совсем совесть потерял! — кивает старик.

— Можете с нами кого-нибудь послать, чтобы по всем домам провела?

— Да вон хоть мою старуху возьмите, она тут про всех все знает...

* * *

Едва рассвело, мисс и Гуля со стариковой женой по домам селян двинулись. А мы с Мирзо не пожалели горячки — к упертому завмагу в дальний кишлак смотались. Все,

что на складах оставалось, подчистую скупили и назад, к старику, — разгрузиться. Теперь в том кишлаке точно никто не живет.

...Гуля и мисс вернулись домой только поздно к вечеру. Смотрю, глаза у обеих не больно-то радостные.

— Не получается? — спрашиваю.

Гуля плечами пожимает.

— Она говорит, что нашего тут нет.

— А как она это определяет, интересно?

— У нее кольцо из камня. Когда мы в чей-то дом входим, она его незаметно вынимает и на ниточке держит. Если вертеться начнет, значит, мальчик рядом... Пока кольцо молчит.

Очень мне понравилось это «пока», но я промолчал.

— Понятно, — говорю. А на самом-то деле что мне понятно? Ни черта мне не понятно. Понятно, что не понос, так диарея. Теперь еще и кольцо.

— И что теперь?

— Вы завтра вот по этому списку продукты развезите. Нам здесь еще три двора осталось. Потом в соседние кишлаки поедем.

Мы с Мирзо переглянулись, но ничего не сказали. Что тут скажешь? И так уже ясно — все бабы дуры!

...Ничего у нас с этими поисками не вышло. Только бензин зря пожгли и кучу денег на гуманитарную помощь истратили, будь она сто раз неладна. Столько кишлаков занюханных прочесали, — а проклятое кольцо и не пошевелилось. Я-то наивно надеялся, что хоть теперь образумится наша мисс, но не тут-то было: мубад как с утра помолится по своему обряду, так снова стал твердить, как заведенный, что он его видит.

— Здесь он! Я вижу, вижу!..

Глаза бы мои не глядели. Он что-то там видит, а нам страдать. А тут еще одна проблема появилась — после одной из таких «раздач», мы въехали в кювет и капитально машину побили, ремонтировать на месте пришлось. И вот, как закончили, наш водила Мирзо наклоняется ко мне и сообщает одну важную весть. Ему местный шофер, что поломку исправлять помогал, рассказал. Оказывается, в Курган-тюбе, куда уехал Идрис, очень сильные бои были. Крови много пролилось...

— Надо, — говорит мне Мирзо, — пока не поздно, закрывать эту лавочку и мотать назад в Душанбе.

— Хорошо бы, да как мотать? Видишь — как будто приросли. Их теперь отсюда даже танком не сдвинешь.

— Ничего, посидим еще, скоро и настоящих танков дождемся, — долдонит Мирзо. — А у меня семья, кто за ними присмотрит? Еще пару дней с вами поезжу, так и быть, сотку-другую баксов своих получу и все! Домой поеду. Так им и передай.

— Да ладно, — говорю, — не скули. За два-три дня что-нибудь образуется.

...Вечером, только-только мы улеглись отдыхать, вдруг — шум, крики, топот, беготня. Мы вскочили. Едва оделись — наш хозяин идет, Мухаммади. Оказывается, сын его Идрис из Кургана вернулся. Да не один, а со всей своей бандой. И вдобавок в этой банде не все живые — несколько мертвецов с собой притащили. Значит, действительно сильно потрепали их в Кургане. Мы хотели, было, на улицу выйти. Старичок не пустил.

— Люди в большом горе, нервные очень, так что лучше дома сидите.

Сидим, ждем, что теперь с нами будет. А на улице — крик, шум, женщины воют... Одним словом, бедлам. Вдруг дверь открылась. Входит молодой, высокий, как жердь, бородатый мужик, халат на плечи накинут, одна рука перевязана, раненый. Смотрит исподлобья. Тут же и старик появляется.

— Знакомьтесь, это мой сын Идрис.

Поздоровались. Мисс наша речь толкнула — про радость, которую они испытывают от встречи с сыном удивительно гостеприимного хозяина. Идрис и бровью не повел. Сели. Идрис внимательно вглядывается в наши лица. На мне остановился.

— Ты кто будешь?

— Переводчик.

— Давно в столице живешь?

— Всю жизнь.

— В каком районе?

Я понял, что он меня проверяет. Но мне-то что? Я за пять минут столько ему про свой район наговорил, что он уже морщиться начал. Понял, что я весь душанбинский — от кончиков ногтей до макушки, и стал про иностранцев расспрашивать.

— Этим-то что здесь нужно?

— Они гуманитарку раздают, беременным женщинам помогают.

— Хм... И многим уже помогли?

— Сколько нашли. Человек пятьдесят.

— Не ко времени вы сюда попали, — говорит.

— Кто же знал, что так будет? — отвечаю.

Он кивает и долго молчит. Но, сам вижу, подобрел чуть-чуть. Снаружи женские крики еще громче стали.

— Убили у нас троих, молодые совсем были ребята, — говорит мне Идрис. — Завтра с утра хоронить будем. Вы лучше на глаза людям не попадайтесь. Неровен час, еще разозлите кого...

— Хорошо, — говорю. — Будем дома сидеть.

— И вообще, — продолжает, — пора вам выбиратья отсюда подобру-поздорову. Так-то всем лучше будет. Ты меня понял?

— Как не понять! Конечно, понял...

Идрис поднялся, кивком попрощался со всеми и вышел. Больше его в эту ночь мы не видели.

...Кишлак все шумел. По улицам люди с факелами носились, мы с Мирзо всю ночь у окна просидели, на них смотрели. А утром, еще затемно, хозяйева наши к нам в комнату Хамзу-учителя запустили — сами, видать, постеснялись такое сказать.

— Пойдемте ко мне, — говорит нам Хамза. — Сюда сейчас много людей соберется, наших погибших парней в последний путь провожать. Вам здесь неудобно будет!..

Мы быстро собрались и перешли к нему в дом. И впрямь так поспокойнее. Тут Хамза рассказал нам, как все обстояло на самом деле: Идрис-то, оказывается, не просто мулла, он целый отрядом командовал. Они поехали в Курган-тюбе воевать — ну и довоевались: дали им там прикурить, из его отряда троих положили, многих ранили... Идрису же все неймется — приехал мертвых похоронить, да заодно новых бойцов набрать. Сегодня на похоронах призыв добровольцев объявит, а он, Хамза, и еще несколько человек — его единомышленников — договорились, что будут выступать против, уговаривать людей не братья за оружие.

— Тебе не перепадет за это? — спрашиваю его.

— Я никогда никого не боялся. Чему быть — того не миновать!..

Оставил он нас в своем доме хозяйничать и ушел на похороны...

Вернулся только к вечеру и вместе со своими друзьями. Все, как один, мрачные. Молчат, слова не вымолвят. Потом разговорились. Оказывается, вот как дело было. Идрис выступил, после него Хамза и его сторонники свое слово сказали. Народ разделился. Одни за Хамзу, другие же к священной войне призывают. Тогда Идрис предложил кишлачным парням самим свою судьбу решать. И в итоге, вместо тех десяти-

пятнадцати человек, что Идрис хотел в свой отряд набрать, почти вся молодежь кишлака к нему записалась. Это-то и сразило Хамзу и его друзей. Не думали они, что дело так далеко зашло... Я, как мог, стал их успокаивать. Мол, это все психоз. Мол, это же пацаны, что ты от них хочешь. Они как увидели своих сверстников убитыми, так, конечно, отомстить захотели...

Но Хамза и его друзья мою речь выслушали без интереса. Один из них — здоровый такой, судя по могучей шее, борец бывший, Шариф его звали — встал и говорит:

— Всё. Теперь мне в кишлаке делать больше нечего. В Душанбе уеду. Надо же как-то жизнь продолжать...

За ним еще двое тоже выразили желание покинуть кишлак. Только Хамза и один старик, бывший когда-то председателем их колхоза, ничего не сказали, так и просидели весь вечер молчком.

* * *

Кто о чем, а вшивый все о бане. Едва новый день занялся, мисс наша и *мубад* снова за свое взялись: нам еще несколько кишлаков объехать надо. Что делать? Поговорил я с Мирзо, подогрел полсотней баксов, и мы снова в поездку двинулись... На выезде из кишлака вынужденно остановились. На дороге, закрыв проезд, «камазы» стоят, а в них местные пацаны битком, как селедка в бочку, набились. На войну, значит, едут. Идрис тоже с ними. Он в отдельной машине — в «Ниве» сидел. Нас увидел, вышел навстречу. Меня в сторону отзывает.

— Даю вам два дня срока. Чтобы через два дня вас тут не было.

— Хорошо. Через два дня нас здесь не будет.

— Ты не обижайся, это в ваших интересах. Сюда из Гиссара и Курган-тюбе войска идут. Не наши, вообще чужие. На каком языке разговаривают — непонятно. И жестокие очень. Если мы их на подступах к ущелью не остановим, они всех тут уничтожат. И вы вместе с нами тоже пропадете! Понял?

Я-то понял, что тут непонятного, только как это моим чудикам объяснить? Да ладно, думаю, не совсем же глупые люди, сами увидят, куда дело клонится. Короче говоря, поехали мы дальше...

Прибыли в очередной кишлак. Да и не кишлак даже — так, кишлачок. Дворов десять, не больше. Зато женщин на сносях — сразу три! Тут-то я впервые и увидел, как наша мисс работает. Идут они с Гулей в дом, где женщина на сносях имеетя. И, перед тем как войти, мисс из рукава халата кольцо на ниточке как будто нечаянно роняет — и смотрит, как оно себя ведет... А кольцо висит себе, как висело, и... не крутится.

В общем, обошли мы нужные дома и в другое место поехали. Там то же самое. Стенмело. И мы повернули назад... Едем. На рытвинах и ухабах, как на аттракционе, трясемя. Мисс на *мубада* все смотрит, а тот только руками разводит. Наверное, завтра в город уедем, думаю. Ну что ж, как раз вовремя!

...Приехали к Хамзе. Смотрим, у двери какая-то женщина стоит и с ним разговаривает. Мы вышли из машины, поздоровались. Так, мол, и так, — говорим, — еще десять рожениц навестили, помощь раздали.

— Вы бы теперь к своему Мухаммади заглянули! — говорит мне Хамза.

— А в чем дело?

— У него невестка сегодня, после отъезда Идриса, вдруг разродилась!

— Как же так? — говорю — Ей же вроде рано еще было?!

— Распереживалась, наверное. Старик боится, как бы не умерла. За врачом в соседний райцентр послали. И в Курган-тюбе за Идрисом, чтобы срочно домой возвращался.

Иду назад — к своим — и рассказываю. Они оба, и мисс, и *мубад*, страсть как разволновались, особенно мисс. Понравился, видать, им старик, жалко его стало.

— Я врач, ведите меня срочно к ней! — говорит мне мисс.

— Можно ее к больной провести? — спрашиваю Хамзу.

— Конечно...

Пошли мы все вместе к дому Мухаммади. Перед тем как войти, мисс колечко свое каменное из рукава по привычке роняет... и вдруг кольцо это как завертится! В жизни никогда такого не видел — вертится, вертится, прямо ветер от него! Мисс сама такого не ожидала, аж в лице изменилась. Да и я, наверное, тоже. Как это понимать? Нашли, что ли?! Неужели мы все эти дни там, где было нужно, сидели?! А сами черт знает где искали? Мисс кольцо свое убрала и вместе с Гулей в дом старика поднялась. Остальное я по рассказам Гули знаю: ребеночек родился светловолосый, здесь такое бывает. Не часто, но бывает. Мисс его как увидела — просто очумела. Будто крылья у нее выросли. Девчонке-роженице плохо было — плачет, мисс ее набок лечь уговорила, что-то сказала, руками над ней поводила, та и заснула. Потом несколько раз во все стороны поклонилась, ребенка ее на руки взяла и всего внимательнейшим образом осмотрела. Запричитала вдруг громко, замолилась, ожерелье с себя сняла — дорожущее! — и на его шейку надела. И после этого танцевать начала — будто обряд какой проводила. И Гуля моя, ни с того ни с сего, тоже к ней присоединилась, помогать стала...

Из комнаты они вышли — обе чуть не на коленях! — и сразу ко мне.

— It is hear! — шепчет мне мисс, а сама чуть не плачет.

— Ах, если бы ты видел, как он на меня посмотрел! Как он на меня посмотрел!!! — шепчет Гуля. А у самой глаза, как у полоумной. — Я сразу всё про себя и свою жизнь поняла!

— Что — всё? — спрашиваю.

— Всё-всё!

Смотрю я на них и думаю — ну, конечно, именно этого нам и не хватало. Именно этого! Чтобы сын Идриса, чтобы именно сын Идриса — и вдруг... И что теперь мы будем с этим делать? Или, наоборот, с нами теперь что будут делать?..

Наконец мы вернулись снова к Хамзе, и я, как мог, объяснил ему, что произошло. Он, естественно, смотрит на меня, как на припадочного.

— И ты во всю эту лабуду веришь, Андрей? Ты же взрослый человек, высшее образование имеешь!

— Хамза, я тебе только объясняю, что они говорят. Я здесь при чем?

— А при том, что как только вы все это Идрису скажете, он же вас, как настоящих кафиров-язычников, прикажет повесить вон на тех тополях! — говорит мне Хамза. И показывает своим длинным пальцем — на каких именно, по его мнению.

— Но, послушай, Хамза! Зороастризм — это же ваша древняя религия. Должен же он это понимать...

— Как деда наши к нам больше никогда не вернутся, — твердо отвечает Хамза, — так и к зороастризму нам давно дороги нет!

Ну, я перевел это своим иностранцам. А им хоть бы хны.

— Мы сами поговорим с ним и убедим. Мы сможем!

— Хамза, а когда Идрис приедет? — спрашиваю.

— Говорят, что через день-два здесь будет.

Ясно. Значит, и жить нам осталось совсем ничего.

Улучил момент, когда Гуля свободна была, и отозвал ее в сторону.

— Гуля, ты понимаешь, чем это может для нас кончиться?

— Что ты хочешь сказать?

Я передал ей свой разговор с Хамзой. Она задумалась. Потом как тряхнет головой, волосы веером расплескались.

— А ты трус, оказывается, Андреич!

— Я тебе про что говорю?! Он же настоящий фанатик, этот Идрис! А у них с язычниками разговор короткий! Пойми ты...

В общем, не получилось у меня ее убедить. Не вышло. А через несколько минут я вдруг сообразил, как она меня назвала, и вздрогнул — Андреич?! Откуда она знала эту кличку? Ведь никто, кроме Хакима, так меня не называл! Это что же получается?! Она сексот, что ли? — секретный сотрудник по их профессиональной терминологии... До конца я в ту минуту так и не додумал. Но в голове эта мыслишка крепко засела...

* * *

На другой день кишлак проснулся от новой беды. Снова вой, крик, шум, гам, плач — беженцы! Войска противника перешли в наступление, отряды Идриса и других черных мулл понесли сильные потери и отступают... По слухам, бои идут уже километрах в тридцати от нас. Жители окрестных кишлаков снялись с мест — и сюда. Народу сразу стало раза в три-четыре больше прежнего. Во все дома набились как тараканы. Многих, кому жилья не хватило, в сараях, где раньше скот свой держали, разместить пришлось. Горе — безмерное! Днями и ночами мертвых своих оплакивают...

Мубад наш, как услышал, что война уже к кишлаку приближается, совсем рехнулся.

— Надо срочно уезжать и ребенка с собой увозить, — говорит.

— Конечно, надо, — думаю. — Да кто ж тебе его отдаст?

Поздней ночью вернулся Идрис со своими боевиками, все злые, как черти. Ничего понять толком нельзя, но говорят, что войска подошли совсем-совсем близко и взяли кишлак в кольцо. Все пути отрезаны. Ребята Идриса заняли круговую оборону. Теперь вообще на улице спокойно не выйти — снайперы противника засели на вершинах холмов. Оттуда кишлак — как на ладони. Из дома в дом народ по арыкам — канавам узким — перебирается. Хамза и Шариф теперь, когда положение стало — хуже некуда, стали в кишлаке авторитетами, — они ведь с самого начала уговаривали людей не воевать. Устроили совещание со всеми стариками и решили к осаждающим на переговоры идти. Может, удастся проблему миром решить?..

Прицепили они на палку белую тряпицу, вышли к околице, помахали. Солдаты их не тронули. Чего надо? Так и так, к начальству веди. Кое-как объяснились, потому что амбалы эти ни по-русски, ни по-таджикски не понимали. Одежда их еще та была — вроде обычная серая с зелеными разводами форма, а что-то в ней крысиное. Даже запах. Провели их в палатку к старшему командиру. Хамза, как увидел его, так, — говорит, — и оцепенел. Глаза холодные, неподвижные. Смотрит сквозь тебя. Рядом с ним переводчик сидел. Как Хамза его описывать начал, мне почему-то Хаким привиделся, да только откуда ему здесь быть? Он же в Душанбе сидит, моего приезда ждет...

— Значит, так, — говорит им командир. — Соберите всех своих детей. И приведите сюда, в наше расположение. Тогда никого из вас не тронем.

— Зачем вам наши дети? — спрашивает Шариф.

— Сроку — один день, — холодно говорит командир. И смотрит сквозь них, как будто и не видит вовсе. — Чтоб завтра с утра все были на площади. Иначе начинаю работу артиллерией. Что само не сторит, потом мои ребята сожгут...

Хамза и Шариф растерялись. Что сказать? Так и ушли...

Послушал я их, призадумался.

— А ведь странная вещь получается! — говорю. — Это что же, они тоже нашего ребенка ищут?

— Выходит, что так... — неуверенно отвечает Хамза.

А Шариф — мужик конкретный, сразу все для себя решил. Уж очень его возмутил приказ командира.

— Если, — говорит, — есть хоть один шанс, хоть самая маленькая надежда, что это дитё — божественное, мы должны сделать все, чтобы его спасти!

Тут и Хамза его поддержал.

— Я, — говорит, — братья, сами знаете, ни в Бога, ни в черта, не верю. Но очень-очень хочу надеяться, что есть в мире силы, которые могут жизнь нашу безумную изменить, в лучшую сторону исправить...

Третий их друг — старик — смотрит на них, слушает и только головой своей горько качает.

— Как же Идрису это объяснить? — спрашивает. — Он же ни за что вам не поверит!

— Идрис пусть будет счастлив, если его ребенка спасут! — говорю я.

— И то верно! — решил Шариф. — Раз так, будем с ним говорить.

Ну что ж, направились мы к Идрису всей оравой. *Мубада* с мисс тоже с собой захватили. Парень смотрит по-волчьи, исподлобья, ничего не понимает. Мисс ему все как на духу рассказала — и про Зардушта, и про предсказание, даже фокус с кольцом продемонстрировала. Бесполезно.

— Вы все продали свои души дьяволу! Вам гореть за это в аду! Я своего ребенка вам, безбожникам, не отдам! Лучше пусть погибнет вместе со мной! — отвечает Идрис.

Ну что тут скажешь? Фанатик! Выгнал он нас. И охрану свою на нас натравил, еле ноги унесли... Тащимся назад по кишлаку, и вдруг Шариф встал как вкопанный. Столбом. Только желваки на скулах играют.

— Не можем же мы, — кричит, — допустить, чтобы из-за этого Ирода божественное, может быть, существо, пострадало!

— А что, что ты предлагаешь? — тоже кричит Хамза.

— Обратимся к народу, пусть люди сами решают, как быть! Созовем всех на *маджлис*, расскажем все. Как решат люди — так тому и быть!

* * *

Ночью собрали людей в мечети. И беженцев пригласили. Сначала Хамза говорил, потом наша мисс и *мубад* выступили. Мне этот бред переводить пришлось. Что тут началось! Одни ругаются, плюют в нас. Хамзе даже кулаком по лицу смазали... Другие, наоборот, заступаются... И вдруг Гуля — Гулёк мой — встает и просит, чтобы ей слово дали. Я ничего не понимаю — чего она вдруг? А Гуля возьми и скажи им, что есть на свете люди, которые одно только зло в нашу жизнь несут, и она была одной из тех, кто им помогал вершить их черные дела! Она давно в их руки попала и никак не могла вырваться. И будто бы они ее специально сюда в нашей группе послали, чтобы выяснить, вправду ли родится здесь этот ребенок или нет? И сейчас эти люди там, среди тех, кто кишлак окружил. Вот почему они требуют, чтобы к ним привели всех детей... И еще она сказала, что не могла больше быть такой, какой была, потому что когда она ребенка увидела, в ней все перевернулось, и она теперь другая...

Тут я все понял про Гульку, но теперь-то что об этом?! Прокололся с нею Хаким, не учел форс-мажорных обстоятельств! Ха-ха-ха. Три раза!..

После ее слов такая тишина воцарилась — муху летящую слышно!

* * *

Огромная толпа людей, многие с факелами в руках, окружила дом Идриса. Люди потребовали, чтобы их пропустили к ребенку. Идрис ужас как возмутился, даже хотел из автомата стрелять, но его собственные телохранители обезоружили и заперли в подвал. А ребенка вынесли и *мубаду* передали. Тот осторожно поднял его на руки и толпе показал. И вдруг что-то случилось, светлее как-то вокруг стало, словно факелы наши в фонари превратились, что ли... Люди на колени упали и молиться начали. Каждый о чем-то своем просит, многие плачут... Из толпы голоса раздались, чтобы отныне только *мубад* и мисс рядом с ребенком и его матерью были. Долго волновались, под утро только кое-как разошлись... И то, потому что Хамза и Шариф попросили. Только мы одни остались, стали думать, как нам дальше-то быть. В конце концов решили, что надо мать и ребенка из кишлака уводить. Да как уводить? Кишлак-то в окружении!..

Один из мужиков — не наш, не местный, он из тех беженцев был, что накануне к нам прибыли, — такое предложил, что мне не по себе стало. А что делать? В нашей ситуации единственно нормальное предложение!

— Они ждут, что мы всех детей на площади соберем... верно? Пусть так и будет — соберем им наших детей. А тем временем гости с младенцем святым обходным путем из кишлака выйдут. И по горам, по ущельям — подальше от этого места!.. Где брат брата жизни лишает и его слов о пощаде не слышит! Где отец сына не знает, а сын — отца! Где земля кровью людской пропиталась и не насытилась, как пустыня, которая никогда не насытится дождями, сколько бы они ни длились, хоть от начала времен!!!

...К восходу солнца у нас все уже было готово. Мужики наши нам двух вооруженных парней дали, чтобы прикрывали, и по тайному маршруту до самой границы афганской провели. Я тоже, на всякий случай, автомат попросил — слава Богу, в армии служил, как обращаться, знаю. Шариф похлопал меня по плечу и свой «калаш» отдал...

Но командир этих «крыс» схитрил, зараза. Его солдаты еще ночью, втихую, к самому кишлаку приблизились — их почти возле дувалов заметили. Что тут было делать?! Шариф и Хамза со товарищи вынужденно в атаку пошли — чтобы от нас отвлечь. Связать противника боем. Такая тут пальба поднялась!.. Благодаря поднявшейся суматохе, нам удалось-таки пробраться в ущелье. Только Мирзо, бедняга — он последним шел — под пулю попал, но наши сопровождающие, ангелы-хранители наши, не дали мне им хоть как-то заняться, силком заставили вперед идти, и мы быстро зашагали прочь по тропе. Стрельба осталась за спиной!..

* * *

К полудню далеко уже были. Там, где горное ущелье распахивалось широким устьем к зеленой долине, наши провожатые остановились.

— Дальше, — говорят, — вы сами пройдете. До афганской границы рукой подать. А мы назад отправимся. Там наши братья умирают.

Не знаю, что со мной случилось, — посмотрел я на младенца, в глаза его синие заглянул, и мне вдруг тоже не захотелось идти дальше.

— Знаете, — говорю я своим. — По-моему, я свое дело сделал. Вы теперь и без меня обойдетесь! Я тоже назад пойду. Там Мирзо остался, посмотрю, может, живой еще...

Гуля смотрит на меня и плачет. Я ее обнял на прощанье. Ребенка волшебного за ручку подержал — он мне вроде даже чуть-чуть улыбнулся! Потом поклонился мисс и *мубаду*. И побежал парней догонять.

...Когда мы вышли на склон горы над кишлаком, он был весь в дыму и пожарах. Сверху хорошо видно, что во дворах и на улицах трупы валяются. Там стрельба... тут стрельба... и повсюду грязно-зеленые, по-волчьи поджарые фигуры солдат мелькают. Мы переглянулись, автоматы проклятые наизготовку взяли и зашагали вниз, навстречу своей Судьбе.

...Последнее, что я вдруг увидел удивительно ясно, когда с тупой тяжелой пулей в груди вниз по склону катился, это — как они идут по весело вьющейся горной тропинке: три женщины, одна из которых бережно прижимает к себе уснувшее дитя, впереди всех — *мубад* стучит посохом по камням, а за их спинами, стремительно удаляясь, мелькая, остаются наши горы и реки, села и города, вся суша Земли и все ее океаны... —



Толкователь страстей

БАШНЯ СЮЮМБИКЕ

Юлия Мельникова*

*Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети, ограда,
Будь полон, чистый водоем.*

Анна Ахматова

Отвратительная была зима: распушенной сахарной ватой падал мокрый снег, ботинки хлюпали и чмокали по растаявшим тротуарам, мелкие капли навсось пробивали непромокаемую куртку. Брал зонтик, двойной, с массивной деревянной ручкой, но вода с него не скатывалась, а застревала, сползая в капюшон. На улицах — непроходимое грязное месиво, не подсыхающее из-за влажного воздуха. То ли ноябрь, то ли февраль — не разберешь.

И темнеет непривычно рано: четыре пополудни, а уже небосклон из свинцово-серого превращается в светло-синий, затем в ярко-синий (это ближе к пяти), наконец, в пять с минутами — в темно-синий. Зажигают фонари, неоновые рекламы, подсвечивают вывески маленькими лампочками. Вечером вспыхивает свет в кафе напротив, освещая деревянные столики и белые вазочки со свернутыми салфетками и студенток с миндальными пирожными. Это хорошо видно из узкого, похожего на замковую бойницу, окна кафедры, где я сидел за какой-нибудь книжкой в перерывах между лекциями. А возвращался вроде бы рано, последнее занятие заканчивалась в 17.35, но тьма — египетская! До остановки всего три метра, и пройти их на ощупь, не свалявшись в лужу, — чудеса эквилибристики. Одну ногу сюда, другую на асфальтовую кочку, папку с конспектами хоть в зубах зажимай — и бегом к троллейбусу. Новый корпус, как-никак, далековато построили, много неудобств — 23 минуты дорога, кинь-положь проездной.... Впрочем, зря жалуясь — рад, что остался на кафедре, веду занятия, диссертацию кропаю, а то представляете, сколько терзаться в поисках работы?

И почему пошли такие зимы? Ноги промокли, как бы не простыть. Или в Казани они всегда теплые, лишь неделю сугробы и морозцы, просто я все не привыкну?! Наверное, из-за контраста...

Троллейбус останавливался на унылой рабочей окраине, рядом с белым угловым домом, оставалось обогнуть его по вытоптанной кратчайшей тропинке — и уже твоя «хрущоба», твой подъезд, твоя дверь. Варя, младшая сестрица, сидит в кресле, с высокой спинки которого свешивается ее длинная коса, вышивает бисером на деревянных пяльцах что-то религиозное. Мы с ней ссорились почти каждый день, поэтому, возвращаясь, я притворялся, что ее совсем не замечаю. Прокручивал недоразумение, из-за которого Варька готова меня проглотить со всеми потрохами. Обида за это время

успевала немного скукожиться, но я ее подогревал, оживляя в памяти всяческие наши недоговорки и недоразумения. Сестра тогда подумывала о послушничестве в монастыре и готовила нечто постно-безвкусное. По вкусу ее «блюда» походили на японский соевый творог, тофу. Короче, ужин толстовца. Теляшник она не жаловала, поэтому я слушал вполуха и смотрел вполглаза новости, пока руки мыли посуду.

Когда за столом собиралась вся семья, Варька обожала подзуживать меня, зная, что я не могу возражать с набитым ртом, тогда как сама она ела мало, вечно постилась. Спросит вроде бы невзначай: «Ну, Ника, согласился со мной?» Мама: «Вы о том же?» — а мне остается разве что головой мотать — мол, дело личное, должно ведь у меня быть свое мнение?! Что я ей отвечу?! Не подумайте, будто я Варьку не люблю. Я радовался, когда мама мне сестру родила, любовался малышкой. В детстве мы были — не разлей вода. Вместе играли во дворе, вместе ездили летом на дачу, а когда я пошел в первый класс, Варька с завистью меня провожала — ей предстояло еще расти и расти. Ребята смеялись — она увязывается за тобой, как зверушка! Вопила: Ника! Ника! И я оборачивался. Потом еще долго, на всех уроках, этот укоряющий голосочек держался в моих ушах. Я боялся, что, пока за ней не присматриваю, с Варькой может произойти что-нибудь плохое.

Интуиция меня не подвела. Совершенно неожиданно к шестнадцати с половиной Варька выросла в фанатичку и стала другой девчонкой. Слово ее закодировали, как в сказке Андерсена, где милую принцессу злая мачеха одела в крапивное рубище и измазала лицо черной вонючей мазью — смесью болотной грязи с зелеными скорлупками грецких орехов. Смотрится она в зеркальную водную гладь и не узнает себя. Братья-лебеди проплывают мимо, не видят, что это она, их любимица... Я тоже не узнал сестру. И долго не мог смириться с этой Варькой! Главное, пожаловаться некому! Это же не секта, вот если бы Варя попала к «преподобному Муну» или к сайентологам, было бы куда обратиться за помощью. А наша православная церковь — это же хорошо, даже прекрасно, по общему мнению — возвращение к корням, к духовности, к народным истокам... А сестренка меня терзала каждый день, изводила «наставлениями», провоцировала, а все из-за того, что я лишен особой благодати понимания, что православие единственная истинная и имеющая право на существование религия.

Из-за чего сыр-бор разгорался? Иконы я ее убирал из книжного шкафа: мало Варя своей комнаты, смахивающей на мини-часовню! К книгам не подобрешься — чтобы достать томик Пушкина («Земля недвижна, неба своды, Творец, поддержаны тобой, да не падут на сушь и воды и не подавят нас собой...»), нужно было вынимать и переключать четыре типографские картонки в пластиковых окладах. Обратное положить я их частенько забывал. Варька хорьком посмотрит на шкаф — есть? нет? — и, если не окажется, сразу надуется как рыба-луна, нажалуется на брата папе. А папа у нас строгий, особо разбирается не станет, сразу начнет ругать нас обоих: меня за неуважение к младшим, Варьку за придиричь к старшим. «Не выпускают нынче качественных офицерских ремней, настоящих, сыромятных, с медными бляхами, везде подделки китайские, из сплошного дерматина, а то б я вас выпорол хорошенько!» — говорит в сердцах папа, но мы знаем: таких ремней давно не производят, отказалась от них наша промышленность!

Мириться нам было некогда: только исчерпывался старый повод, немедленно же возникал новый. Что за девица, что за характер! И в кого она такая пошла?! Семья у нас по-советски атеистическая, мама ни во что не верует, папа считает, что можно быть замечательным человеком и вне церкви. Главное, он говорит, надо жить по совести, зла не делать. А что за зверушка, эта совесть, и в каких краях она обитает — умалчивал. Наверное, на дубе в Элоней-Мамре сидит. Или на болоте в лепестках лотоса. И ни разу

* Юлия Мельникова (р. 1981) — сетевой прозаик, публицист и художник-абстракционист.

мне совесть не попадалась (что вовсе не значит, будто ее нет, — есть, конечно). Я положил голову и решил, что проще не делать из наших разногласий трагедию. Варю уже не приструнишь — большая, сама разберется. Сестра она мне, не чужая девчонка, пройдет время — может, мы помирился и снова будем дружить...

Виноват, отвлекся, свернул не на ту дорогу. Итак, в Казанском кремле я больше всего любил семерую башню Сююмбике — пятьдесят восемь метров высоты, с которых когда-то бросилась вдова хана Сафи-Гирея. По старой легенде, после падения Казани Иван Грозный, известный развратник и женогубец, возмечтал взять к себе в гарем-терем несчастную Сююмбику. Прослышав об этом, Сююмбика взобралась на высокую башню и ринулась вниз... Так ли это было, никто на самом деле не знал: прошло больше четырехсот лет — нешуточное время! Казанские старожилы клялись, что каждую ночь на 2 октября призрак ханши в длинном белом наряде появляется из правого окошка четвертого яруса башни и проходит по кромке выступа, чтобы затем раствориться в воздухе у ограды. Ограда была массивная, каменная, такие до революции строили у присутственных мест, вокруг нее росли густые деревья, не терявшие свою обильную листву вплоть до самой поздней осени, питавшие свои корни водами речки Казанки. Затеряться в них очень просто не только привидению. Башня, старая и незыблемая, сильно наклонялась вбок, в сторону востока, рискуя грохнуться прямо на шаймиевский дворец. Я боялся, что в один прекрасный день приду полюбоваться, а башня возьмет да и развалится! Чинить ее надо, чинить скорей! Без Сююмбике Казань не Казань... Рыжий кирпич заметно обветшал, выступы облюбовали черные вороны фигурки, свившие гнезда и выводившие воронят. Сююмбика кренилась на глазах. Держись, милая, не падай! Что же я буду без тебя делать?!

Однажды, лет в 13, мне захотелось проверить легенду о призраке, и я не побоялся просидеть целую ночь у подножия башни, ожидая Сююмбику. Тогда это делалось ради хвастовства в бесстрашной мальчишечьей компании, я ничуть не подозревал, что Сююмбика будет сопровождать меня всю жизнь и даже доведется жениться на девушке, считавшейся чуть ли не ее новым земным воплощением. Вечером, лишь только стемнело, я сел на деревянный ящик из-под болгарского сливового компота и, стараясь не заснуть, упрямо смотрел в сторону башни. Глаза у меня слипались, тело не слушалось, клонило в сон, но все-таки продержался до наступления самой темной темноты. И вот, уже потеряв малейшую надежду увидеть ее тень, часа в три ночи я обомлел. По выступу башни медленно, крадучись вороватой кошкой, двигалось нечто белое, светящееся, блестящее. Была ли это Сююмбика собственной персоной или с бессонницы у меня начались «видения» — по сей день не могу решить. Издалека ее призрак смотрелся бы лучше, а я стоял вблизи и чувствовал, как шевелятся волосы под вязаной шапочкой. Ступок света повторял очертания небольшой женской фигуры, маленькие ножки немислимым чудом удерживали ее на очень узкой кромке. Мне захотелось расставить руки и поймать ее, будто бы Сююмбика живая и могла разбиться, но я понимал, что она — привидение, у нее нет тела, это — эфир, какая-то нематериальная субстанция, вроде той, из чего делают эльфов сочинители фэнтези. Приблизившись к арочным воротам, Сююмбика прошла сквозь них и исчезла. Завороженный, я вернулся домой и, едва успев снять куртку, провалился в зыбкий сон. А наутро все увиденное показалось мне просто бредом, иллюзией, обманом зрения, случайным отблеском подсветки и непогашенных фонарей. В глубине души я верил — то была Сююмбика!

Больше, увы, я о Сююмбике ничего не знал. Доходили смутные легенды, что она вовсе не бросалась с башни, а доживала в Москве на положении почетной пленницы, выучила и пристроила в русские дворяне сына, Утемиш-Гирея, ставшего в крещении Александром, но я тому не верил. Иногда снилась Сююмбика и говорила что-то груст-

ное татарское, но, просыпаясь, я уже ничего не помнил. Казанская царица оставалась для меня прелестным и фантастическим образом женщины, которую встретить можно лишь во сне, а не наяву. И все же я упрямо надеялся на эту фантастическую встречу...

В одно из весенних воскресений, когда Варька уходила в церковь, а родители уезжали на рынок, я лежал, малость приболевший, в своей комнатке и пытался отыскать что-нибудь быстродействующее «от температуры». Полностью расклеиваться не хотелось, а потому стремление найти магическую таблетку перевешивало и боль, раскалывавшую черепушку, и нестерпимый жар всего тела, и внезапно ослабевшие ноги. Кое-как сев на низенький пуфик, я раскрыв дверцы старой тумбочки, где раньше хранились сушеные травы и ходовые лекарства, но вместо аспирина вытащил большую книжищу в тонкой быстро рвущейся белой обложке. Сестрица обожала подкладывать мне всякие душещипательные брошюры, засовывая их в самые непредсказуемые уголки, так что каждый раз я удивлялся ее находчивости, выживая из холодильника очередной номер «Благодатного огня» вместо кефира. Заглавие «Экспансия ислама» заставило меня подняться с пуфика и переместиться на кровать. Таблеток в этой тумбочке быть не может, подумал я, давай-ка лучше почитаем фантазии почтенных батюшек. Недаром же книгу называют лучшим лекарством, авось и полегчает... Титульный лист этой увесистой, страниц на семьсот, книжки открывали благословения православных иерархов и крестообразные винетки, похожие на узоры церковной ограды. Разумеется, учеба на культурологическом отделении философского факультета приучила меня сдержанно относиться к подобным сочинениям, но здесь, простуженный, в домашней пижаме, я почувствовал, что прежний иммунитет не действует. Один священник упомянул благородное пленение Сююмбике как пример христианского милосердия к поверженным врагам. Мол, никто ее не обижал, напротив, положили достойное знатной особы содержание, а крестившемуся сыну дозволили занять высокое положение при царском дворе. Но я в это не поверил. Толерантностью не пахло и в царствование ужасного Грозного, и гораздо позже, так что судьба Сююмбике могла быть только печальной. В следующей главе припомнили муки константинопольского патриарха, распиленного надвое деревянной пилой, и Айю-Софию, пришлили ни к селу ни к городу давно несуществующую секту «ассашин». Едва долистав до середины книги, где утверждалась необходимость продолжения крестовых походов, я прижал уши к макушке и стал неистово-нервно чесаться. Почесавшись, отправился на кухню попить водички, нашел аспирин, а после заснул. Видимо, эта книга и стала причиной приснившихся мне кошмаров: крестоносцев, водружающих свиньи головы на верхушки иерусалимских минаретов, папы римского, читающего санскритскую буллу, турецкого султана, запекающего львовского переводчика, а так же бесконечной вереницы пустынных круглоголовов.

Проснулся я от шума апрельского дождя, стучащего по жестяному скату окна. Еще никто не пришел, жар пропал, пора было полоскать горло настоем ромашки, но я словно прирос к окну, рассматривая сквозь усыпанное капельками стекло намокшие листочки берез, первую салатную зелень. Влага кончилась, дождинки остановились на полпути между землей и небом, а я все стоял и думал о том, как могла вообще прийти на ум им, людям верующим, такая озлобленность. Звон ключа в замочной скважине прервал мои размышления. Вернулись родители, они нашли меня больным и уговорили снова уснуть. Я проспал до понедельничного утра, поставил непонятно зачем градусник, показавший удивительное 36,7, а к десяти часам поехал читать лекцию третьекурсникам, с которыми «проходил» инквизицию и обещал принести «Молот ведьм» с цветными картинками. Книга та постоянно вспоминалась, всплывала в памяти, я спорил с ней, ругался, но сама она запропастилась, это была даже не полемика, а скорее послесловие...

...Начало всему положил университет, куда я попал растерянным семнадцатилетним отроком. Возможно, специально, сам того не ведая, выбрал культурологическое направление, чтобы, прикрываясь учебной необходимостью, спокойно удовлетворять свои нетривиальные интересы. Родители наверняка не позволили бы мне заняться древними тюрками, культурой Волжской Булгарии, потому что нелюбовь ко всему не русскому распространялась ими на все восточное и мусульманское. А там я безбоязненно читал Гаспринского, написал доклад о Касимове — татарском анклав в сердце русских владений, увлекался евразийством и Гумилевым, даже баловался чернокнижными трактатами...

От счастливица требовалось отлично учиться, спокойно себя вести, избегая всевозможных конфликтов, а так же, чтобы не сильно выделяться из массы однокурсников, хорошо говорить по-татарски. Этим требованиям я вполне соответствовал, но все равно между мной и остальными студентами словно пролегла прозрачная стеклянная стена. Дело было не только в том, что их родители были обеспеченнее, а мои беднее, что я учился бесплатно, выглядел достаточно скромно и несовременно. Деньги, конечно, тут тоже играли роль, но, думаю, не стоит ее преувеличивать. Просто я не вписался в этот пестрый студенческий мир, не приспособился, не обзавелся должными знакомствами. Разумеется, на первых порах меня немножко это задевало. Особенно то, что сокурсники всегда пользовались моими записями, но в свою компанию не принимали. Я и не просился. Зачем? Нисколько не нуждался в подобном общении. Они спохватывались в конце семестра, впопыхах пытались все исправить, я же честно учился пять лет и продолжал после. Мне это нравилось, учеба была моей насущной потребностью, в чем-то, возможно, и способом бытия. Я ненавидел слово «отличник» не только потому, что оно ничего не выражало, но и потому, что учился не для репутации, не для похвалы родителей, а ради себя. Когда меня спрашивали «как ты учишься?», я бормотал в ответ: «помаленьку». Действительно, помаленьку мне открывались неизведанные континенты, впервые узнавалось то, что мучило долгой неразрешимостью, я подрастал — однако этого никто не видел. Это было личное, мое, скрыто-сокровенное, никуда не вписанное, не упомянутое нигде, кроме сердца.

Иногда, возвращаясь с занятий, я открывал взятую в университетской библиотеке книгу и перед тем, как погрузиться в увлекательное чтение, подолгу всматривался в отблески зажженных фонарей, отражавшихся на песочных кляксах обоев. Комната, прежде светлая, в темноте преображалась так, что я постоянно ее не узнавал. Ту сторону дома чересчур затемняли внезапно вымахавшие канадские клены, солнце загораживали высокие башенки новостроек. Низким окнам перепадало слишком мало света, поэтому свою комнатку я нарочно обклеил и обставил в бело-бежево-песочной гамме. Все равно это не помогало. С наступлением темноты шкаф, спинка кровати, компьютер на треугольном столике, тумбочка, зеркальная рама, разлапистая монстера с дырявыми листьями становились почти черными, словно вбирая в себя максимум зимней тьмы. Даже включив яркую лампу, светившуюся ядовитым оранжевым огнем, я не мог избавиться от мысли, что уже давно спустилась ночь. Чтение приобретало странный привкус ночных бдений, какой-то немислимой эзотерики, тайных знаний, которые невозможны при дневном свете.

Если бы не Варька, тормозившая меня для того, чтобы затеять новую ссору, я наверняка бы засыпал прямо у раскрытой книги. Она покупала множество церковных брошюрок, красочно передающих пытки святых, тщательные описания самоистязаний. Не знаю, почему такое экстремальное чтиво было столь притягательно для моей сестры, причем в самом прекрасном, золотом возрасте, в семнадцать-восемнадцать лет, когда всем хочется счастья, любви, приключений. Варя однажды поделилась своим тайным желанием — уйти из мира, переселиться в монастырь, где

ничего не значит земная красота и можно отбросить дьявольское очарование греховной жизни. Но она понимала, что не готова к этому, да и нельзя подводить родителей, оставлять их одних, поэтому монастырь был отдаленной перспективой, в которую я, признаться, не верил. Варя считала себя некрасивой. В этом, скорее всего, и заключалась причина ее «ухода от мира». Девичьи комплексы привели сестру туда, где красота приравнивалась если не к преступлению, то уж точно к недостатку. Все ее подружки, «сестры», как говорила о них Варя, не отличались прелестью, они не ценили свою внешность и не пытались хоть чем-то ее подправить. Когда «сестры» приходили к ней в гости, я в ужасе закрывал дверь на защелку, забивался в самый дальний угол и старался дышать как можно тише. Услышат — и сразу на костер! Хорошо, что они бывали у нас редко.

Варька старалась все перелопатить на православный лад — я привык подыскивать подарок на день рождения, но вместо него стали вдруг отмечаться Варварины именины — двумя неделями позже. По средам и пятницам дома не готовили мяса и рыбы. Посты Варя блюла строго, но почему-то не решалась навязывать их родителям. Зато меня с удовольствием морила голодом. К вопросам гигиены Варька тоже подходила особо: тело тленно, тело бренно, так зачем же зря подвергать его мытью? О душе надо заботиться! Ну а мыться можно раз в неделю, если чаще — уже от лукавого... Я же нахально залезал в ванну каждый вечер, выслушивая злорадное Варькино шуршание: он себя всякими мочалками скребет, чтоб до мусульманина доскрестись, и чего доброго, ведь — доскребется!!!

Но я ей все-таки признателен. Как ни странно, многие вещи я смог понять лишь благодаря столкновениям с Варей. Как-то мне попался очерк о поисках солдат, оказавшихся в афганском плену еще в 80-е годы. Война закончилась, но о пленных спохватились слишком поздно. Большинство из них давно погибли — не обязательно от пуль, от змей и жажды, дважды преданные, пропавшие без вести, до сих пор оплакиваемые своими матерями. Но были среди них спасшиеся, теперь благополучно живущие в другой стране, с другим именем, с другой верой... У них замечательные жены, множество черноголовых детишек, давно уже привычный быт в окружении бескрайних песков. Не надо нас возвращать, убеждали они невесть как проникших в пустыню русских дипломатов, не надо! Мы живем здесь по двадцать с лишним лет, у нас семьи, не ворошите прошлое! И родителям мы не нужны — такие. Они любят нас Ваньками, Сашками и Петьками, а мы уже совсем не те. Им лучше не знать, что мы живы. Зачем? У кого-то, быть может, остались воспоминания о русских просторах, к кому-то, не исключая, временами приходит славянская речь, но назад никто из них не вернется. Что оставили они? — размышляя я, — что приобрели? Они мусульмане и живут совершенно иной жизнью, которая прежде, на вымирающей Среднерусской возвышенности, была нереальна. Что они видели в своих нищих деревеньках, кроме ползающих на четвереньках родичей, грязи, мата и раздробленных судеб?! Выходит, им несказанно повезло получить шанс начать все заново. Я не удержался и сказал об этом Варю. Что тут началось — уму непостижимо! Коррида, бои без правил, греко-персидские войны, штурм Царьграда! Сначала она их пропесочила за вероотступничество. По Варькиным понятиям, грех страшный. Вспомнила она и обсуждаемую тогда всеми историю чеченского новомученика, мать которого чистосердечно заявила: хорошо, что сын погиб, а не отрекся от православия!

Потом перескочила на меня — что я им, предателям, сочувствую. Сколько ни растолковывал я ей, что ребята те выросли при полном атеизме, поголовные нехристи, а потому ничегошеньки они не предавали. «Дома мы все герои, — сказал я Варьке в запале, — и вообще, хватит об этом. Нет ничего дороже жизни, и отдавать ее просто так, за то, во что ты не только не веришь, но и чего ты в общем-то и не знаешь, более

чем жестоко». На что сестрица моя заорала: мол, ах так, увилываешь, может, ты тоже в ислам перейдешь, заступник?! Я сам не понимал, откуда в Варьке столько язвительности, и пробормотал что-то вроде: разумеется, перейду, как же иначе? Варька хлопнула дверью, едва не прищемив свою длинную змеиную косу, но назавтра все позабылось. Не было у нее злопамятства, все обиды держались недолго. Но этот горячий ответ навсегда отпечатался в моей памяти. И тогда я не сомневался, что это было гораздо большее, чем невзначай слетевшие с языка слова...

— Если честно, то я боюсь, что и ты найдешь себе какую-нибудь татарку, а не русскую, — выдавила однажды мама, когда я поведал ей о скоропалительной женитьбе своего школьного приятеля.

— Татарок бояться — в Татарии не жить, — отшутился я и добавил: — Полюблю цыганку... — Варя фыркнула. Увы! Никаких девчонок — ни татарок, ни тем паче цыганок — не знал. Родители могли пока не беспокоиться за своего Никиту. Множество дел на кафедре, которыми заваливали по макушку молодого преподавателя, почти не оставляли свободного времени, и свой короткий досуг я проводил за книгами, в торопливых прогулках по старым казанским кварталам с еле сохранившимся Варькиным мольбертом под мышкой. Она давно, в шестом-седьмом классе, ходила в художественную школу, потом внезапно бросила, а я по-прежнему рисовал Варькиными кистями, выдернутыми из барсучьего хвоста, таскал тяжелые художественные «снасти», изредка подкупая пастель, тюбики с маслом, бумагу или новенький холст. Картины получались разные: казанские виды, сюрреалистические композиции без внятного смысла, помойные натюрморты из арбузных корок и выдолбленных тычк и, конечно, башни. Времени на живопись катастрофически не хватало, иногда незаконченные полотна высохли несколько недель, я забывал, что хотел нарисовать, потом возвращался, мучительно вспоминая — ага, здесь должна расти скрюченная шелковица, вот тут остановился на зеркальном отображении прохожего в витрине...

Выходило за год не больше трех картин, и каждой я посвящал месяцы утомительных набросков. Подолгу выбирал подходящую натуру, всматривался в расположение мельчайших деталей, приглядывался к неказистой мазне уличных художников, чтобы нечаянно не впасть в плагиат. Рисовал городские пейзажи, любя запутанную, перемешанную, фантастическую Казань, к красоте которой, увы, мои родные относились прохладно.

Не было у них ни праздного любопытства, ни страсти к яркой экзотике, ни простого интереса к месту, куда забросила судьба. Вместо этого — неприятное замешательство, страх перед всем неизведанным, выродившиеся в презрение и даже ненависть. Если моя мама или сестра слышали, что к ним обращаются по-татарски, они либо молчали, либо испуганно бросали, отсекая собеседника, — не понимаем, не говорим, извините! Безразлично это распространялось и на народ, насколько не виноватый, что Грозному в XVI веке вздумалось завоевать Казанское ханство. Татары казались им безмолвными статистами, русскоязычные казанцы умудрялись существовать вне их странного мира, будто проходя мимо неодушевленных предметов. Гипертрофированная гордость, выражавшаяся в постоянном повторении «мы, русские...», только увеличивала затаенную обиду. Мне было очень и очень стыдно, что родители — во всем прочем добрые, заботливые люди, — оказывается, берут пример с противных мелкотравчатых черносотенцев.

Наша семья переехала в Казань летом 1990 года, я успел проучиться немного на прежнем месте и пошел в третий класс уже в новую школу. Официально она именовалась «русской», но не обошлось без уроков татарского два дня в неделю, второго иностранного языка, которому учили кое-как, бесцельным зазубриванием. К недовольству родителей, этот предмет был обязателен, и от него не удавалось отвертеться.

Тогда в национальных республиках уже расцветали махровые цветы сепаратизма. Паникеры всерьез говорили о будущих погромах и резне. Ходили слухи об изгнании всех русских и запрете русского языка. Русские вдруг почувствовали себя на месте меньшинства, будущее которого весьма зыбко. Родители, перебравшиеся в Казань от жилищной безысходности (там они не могли выбраться из барачной коммуналки без каких-либо удобств, где пожарные «в целях безопасности» перерезали электричество, а здесь, в чужой республике, им сразу предоставили трехкомнатную «хрущевку»), жадно выпитывали ходившие по «русской улице» слухи о реванше татарского национализма.

Думали ли они уезжать? Скорее всего, нет, потому что уезжать некуда, дедушек-бабушек, к которым было б можно приехать погостить, у нас не было. Папа вырос в детдоме, без всякой родни, мама в 17 лет поехала строить БАМ и надолго застряла в маленьком городке посреди тайги. Профессии у них были самые обыкновенные, зарплаты небольшие, помощи ждать не от кого. Знали лишь то, что они, русские, здесь главные, может, и хозяева, а потому нисколько не обязаны поддаваться татарским веяниям, напротив, это татары должны стать русскими. Тем более что история подбрасывала примеры блестящего обрусения: Державины, Карамзины, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы, Тургеневы, Набоковы...

Частенько я становился свидетелем неприятных разговоров, которые вспыхивали в семейном кругу и доносились до меня смутными отголосками. Мои родители испытывали к татарам чувства, близкие к физическому отвращению, и совершенно без стеснения говорили об этом. Татарская внешность считалась эталоном уродства, татарская кухня — неприемлемой, а мусульманская вера — сплошной ересью и лжеучением.

Едва разложив вещи по приезду в Казань, мама подозвала меня и сказала тоном, которым обычно даются самые серьезные наставления: Никитка, никогда не водись с татарчатами! И не бери у них ничего, и сам не давай! Они русских угощают отравленными сладостями, чтобы снова нас победить и устроить второе иго! Мамины глаза переполнялись строгостью и смотрели грозно, как у опальной боярыни Морозовой. Понимая, что она либо шутит, либо играет в какую-то замысловатую взрослую игру, я пробормотал — да, мам, не буду... Дети часто не отдают отчета своим словам, и когда родители требуют в чем-то поклясться, пообещать, то это вовсе не значит, что обещание обязательно выполнится.

Я сразу же выяснил, что большая-пребольшая речка, которая не видна из окон нашего дома — это Волга—Итиль—Идель. А еще есть гнилой, тинный Булак, мелкие речушки — Казанка и Черная, озеро Кабаны без кабанов, куда мне строго-настрого запрещали ходить купаться. Малышей страшали крылатым драконом Джиласом — мол, он подкарауливает зазевавшихся купальщиков и уносит в свою пучину. Я знал, что драконов выдумали, да и не жить им в России — холодно, голодно, не полетаешь, но легенда мне понравилась.

В нашем двореке я видел весьма симпатичных темноглазых детишек и, уже не веря взрослым, допускал, что причиной тому — дефект зрения, при котором смугленький мальчик с черными волосами, конечно, хуже белокожего блондина. Потому что блондинчик-то свой, выношенный, выпестованный, а смуглястик неизвестно чей, вообще он весь какой-то не такой, лопочет по-иностранному, поди разбери... Как-то быстро я научился понимать их речь, схватывая на лету новые слова, причем мне это ничего не стоило. Я совершенно естественно освоил татарский. И совсем уж незаметно почувствовал, что Казань — именно та стихия, в которой мне удобно и привольно, что я казанец... По большому счету, не удалась Россия от меня в Казани, а я в общем-то и не знал настоящей России...

Совсем татарчонком растет, говорили родители, когда я садился делать уроки и раскрывал потрепанный учебник татарского языка, тадычивший о дружбе народов под счастливым советским солнцем. Сначала я прилежно учился, так как не хотел приносить «двойки», а после сам заинтересовался татарскими древностями, кладами и ханами, стал почитать по-татарски. Я слушал татарское радио тихо-тихо, так, что было слышно только возле приемника, а если оставался один дома, то включал местный телеканал, записывая в блокнотик неизвестные слова. Чтобы не расстраивать близких, дома я стеснялся показывать, что знаю татарский, никогда не держал ни книг, ни прессы на этом языке. Пусть остаются в спокойном неведении, пусть думают, будто те уроки ничему меня не научили, раз уж им так хочется.

Первый случай, когда из-за этого пришлось испытать неприятное чувство, смешавшее и стыд, и жалость, и горечь, произошел в августе, на археологических раскопках. Мне было почти четырнадцать. Вместе с двумя мальчишками из моего класса, «ботаниками» и очкариками, я напросился помощником в археологическую экспедицию, за несколько десятков километров от Казани, у волжского берега, где разрыли бульдозером городище булгар, смутно упоминаемое в летописях. Сенсаций эти раскопки не обещали, но мы мечтали найти что-нибудь древнее, ценное — покрытые медной прозеленью монеты, или кривой ржавый ятаган, или серебряную серьгу, оброненную надменной растеряхой. Согласившись три недели провести в степи, копать землю, бегать за водой к ручью, нещадно эксплуатироваться археологами под лучами не менее нещадного солнца, среди каменных идолищ и строгих глаз беркутов, я и не догадывался, чем обернется впоследствии эта поездка...

Стояла жара. Пыль забивалась в сандалии и облепляла ноги. В тот день я должен был идти в ближайшую деревушку, километра за два, купить хлеба в лавке у пекарни, найти дом молочницы (с зеленой калиткой, запомни!) и попросить ее продавать молоко археологам. Выглядел я почти что беспризорником — в выгоревшей кепке с облезшей надписью, в растянутой футболке, в стареньких шортиках — новые вещи для раскопок пожалел, и потому сильно сомневался, не примут ли меня за бездомного попрошайку, захотят ли разговаривать. Деревушка была татарская, маленькая, чистая, ладная, обустроенная на городской манер. С удивлением я смотрел на миниатюрную «площадь», где возвышалась новенькая, только что отстроенная в условном мавританском стиле мечеть, на административное здание с двумя флагами, розовую плитку, клумбы, скамейки и фонари «под старину».

— Где тут пекарня? — спросил я по-татарски у первого попавшегося прохожего и пояснил, чтобы тот не испугался моего чучельного вида: я от археологов, им хлеб нужен. Прохожий показал и поинтересовался, много ли мы накопили.

— Мало, пока только ножи и битая посуда, — вздохнул я.

— Ну не переживай, на все воля Аллаха, может, еще будут находки, — сказал он.

Я поблагодарил незнакомца, зашел в пекарню и на обратном пути, уже принимая теплый хлеб, стал искать домик молочницы. Почему-то мне казалось, что она — немолодая, бедная вдова, продающая отнятое у голодных детей молоко единственной тощей коровы. Я не сразу понял, что третий с краю дом, с зеленой калиткой — не развалюха, а большой двухэтажный коттедж из красного кирпича, калитка действительно зеленая, но не деревянная, а железная. Она была не заперта, я робко протиснулся, ожидая броска овчарки или грозного окрика хозяев. Тишина стояла такая сонная, утихомиривающая, — не хотелось ее нарушать, стучаться, просить...

Но возвращаться с пустыми руками нельзя, и я слегка стукнул в сосновую лакированную дверь. Меня окликнули по-татарски: за молоком? Да, ответил я. — Подождите! Через минуту дверь распахнулась, и во двор вышел загорелый мальчонка лет

семи, в светлой рубашонке и расшитой волнистыми узорами тюбетейке. В руках он держал большую матовую банку с молоком, обсыпанную капельками выступившей воды, и протянул ее мне. Я отдал деньги, удивился деревенской дешевизне (наверное, им молоко девать некуда) и уже повернулся к калитке, как на пороге появилась молочница. Она извинилась, что не вышла сама, — они молились, и хочет пригласить меня на минутку, охладиться. Мне было интересно посмотреть этот дом и одновременно неловко. Жара тем временем усиливалась, на дороге виднелись маленькие пылевые воронки — эмбрионы смерчей. Я представил, как пойду по этому пеклу назад, и коттедж, хранивший в кирпичной кладке холод погреба, показался мне идиллической Аркадией, благословенным раем. Хозяйка налила молока в большую белую чашку с крупными красными горошинами и стала расспрашивать...

Я сказал ей, что зовут меня Никитой Белогоровым, живу в Казани, учусь в русской школе, а на раскопки приехал от кружка любителей старины. Женщина слушала. Платок на ее голове был из модной в те годы ткани в мелкие блестящие кружочки, продававшейся почти повсюду. Наши девчонки почему-то шили из нее новогодние наряды, хотя ткань была шуршащей, скользкой и холодной, вроде жабьей кожицы. Никита — такое редкое, странное имя, — проронила молочница, — впервые слышу.

— Это старинное русское имя, правда, немного подзабытое, а теперь возрожденное, — сказал я.

— Надо же, а хорошо говорите по-татарски, это редко встречается, какие же у вас замечательные родители, всему научили...

Я покраснел. Это напомнило о болезненном отношении родителей к моему общению с татарским миром. Испуганно поблагодарив молочницу с сынишкой, попрощался, ведь пора было возвращаться...

Только выскочив на раскаленную, словно вечно не остывающую сковородку, дорогу, я понял, что пробыл в доме с зеленой калиткой всего десять минут и не обязательно нестись стремглав. Банка молока и пакет с хлебом бултыхались в моих руках. Я шел медленно, боясь расплескать драгоценное молоко, и знал, что вскоре опять окажусь в этой деревне, снова буду щипать белую буханку с хрустящей корочкой, снова ко мне подойдет привязанная коза со свалывшимися жгутами серой шерсти, пошипят вслед раскормленные гусаки. Ребята моментально умяли всю провизию, до обеда, который пекли и жарили на огороженном камнями кострище, было еще далеко. Я расчищал специальной метелкой раскопанную ямку и думал: молочнице нечасто попадают русские покупатели, вот и удивляется моему имени. Повесть «красного графа» про барчонка Никитку, из-за которой меня так называли, она вряд ли читала...

Неподалеку тонкая, как лента, змея, черная, с ромбиками посредине блестящей спинки, выставив вертикально маленькую головку, заглатывала большую жирную полевку, давясь и растягивая челюстные связки. По степи расплзалось горячее полуденное марево. Суслики, утром изображавшие скульптурные столбики, попрятались в норы. Пушистые хвосты ковыля стояли не шелохнувшись. Вот бы найти клад! Ангинно-алгебрной зимою, когда из тусклого серого облака сыплется воздушной кукурузой снег, я мог бы любоваться на драгоценную вещицу, привезенную из городища, вспоминая потрескивающий костер из сухих стеблей тамариска, ящериц и огромное нежно-голубое небо. А без клада экспедиция пустая...

Ночевали мы в кирпичном коробе — бывшей машинно-тракторной станции разоренного совхоза. За день там настолько накалялись стены, что каждый вечер приходилось распахивать растрескавшиеся деревянные створки ворот и терпеливо ждать, пока прохлада овеет поставленные раскладушки, выгонит застоявшуюся духоту. Я вдыхал запах свежих полевых веников — и не засыпал. Где-то верещали сверчки, в степи начиналась ночная жизнь, а мне хотелось увидеть звезды...

Я был так одинок здесь, посреди самой чингисхановской, первозданной степи, что ничего жутче и безысходнее этого одиночества невозможно представить...

Раз в два дня шел по утоптанной грунтовке в деревню к молочнице, иногда меня встречал ее сынишка, болтая по-татарски. Осенью ему предстояло идти в школу, и мальчонка безудержно носился по деревне, надеясь нагуляться на несколько лет вперед. Я беспрестанно думал об этой семье, совершенно незнакомой и одновременно почему-то очень близкой, казалось, будто нахожусь с ними в тайном родстве, которого никто не признавал, — но оно существовало. Взрослея, все чаще задумываешься о том, что раньше ничего для тебя не значило, что не могло и присниться...

Три недели пролетели быстро, и уже похудевший, загорелый, с потрепанным рюкзаком за спиной я стоял на перроне. Казанский поезд запаздывал, от скуки сталковыряться в своем багаже, проверяя, все ли успел забрать, и нащупал что-то очень похожее на небольшую картонную коробочку. Ничего подобного у меня там быть не могло! Все вещи сложены в целлофановые пакеты, упаковка от плеера давно выброшена! Но просвистел гудок поезда, я спешно запрыгнул в вагон и позабыл об этом. Боязнь оставленных предметов в наши края тогда еще не проникла, мысль о том, что у тебя в рюкзаке, может, тикает бомба, мне не приходила, поэтому я спокойно доехал до Казани.

Лишь к вечеру, дома, разбирая рюкзак, нашел в нем небольшую старинную книгу — ее я принял за коробку. Жесткая обложка не знаю из чего, стертая по краям, изломанная в середине, бывшая когда-то оранжево-коричневатой, а теперь мятая-перемятая, заляпанная то ли непогодой, то ли жирными руками, то ли свечным нагаром. Как же она у меня оказалась? Археологи подшутили?! Или наши ребята?! Но рюкзак всегда находился у меня! Незаметно подложить антикварную и, наверное, дорогую вещь могли те, с кем я делился своей мечтой найти клад. Поэтому тайком, жалея, подбросили. Зачем?! Сейчас наивно ожидать от кого бы то ни было щедрых жестов. Что если она краденая?! Идти в милицию? Так меня же и посадят! Избавиться? Опасно, да и жаль, все-таки произведение старины, представляет определенную ценность. Открывать эту невесть откуда свалившуюся книгу я побоялся — наслушался баек о проклятых фолиантах, несущих смерть всем любопытствующим. И засунул в нижний ящик своего шкафа, закрыв стопкой современных романов.

Прошло около года. Я помнил про книгу, но никак не мог себя пересилить, заставить открыть ее и все откладывать... Потом я познакомился с умненьким мальчиком Арсением, сыном питерского востоковеда. И у него в гостях, поразившись коллекции старинных книг на арабском, турецком, фарси, множестве других, совсем уж невозможных языков, рассказал, что вот, ни с того ни с сего перепала мне старая книжица, которую по суеверности страшусь даже открыть. Востоковед заинтересовался. Книгу я принес, растерянно созерцая, как, нисколько не опасаясь проклятия, он спокойно полистал ее и почти сразу ответил: да ничего тут плохого нет, это не слыхом старое издание Аль-Корана, арабский оригинал, напечатано в типографии славного города Истанбула в 1911 году. К библиографическим уникалам не относится — книжка, так сказать, на любителя старины, вполне вероятно, чья-то семейная реликвия. Держи и меньше голову забивай всякими триллерами.

Я взял книгу в руки и разочарованно вздохнул: «Знаете, мне померещилось, будто это трактат по черной магии: непонятные нити арабской вязи, переплетающиеся узоры и орнаменты, капли чего-то бурого на обложке, может быть, человеческой крови. Я так и представил, что прошлый ее хозяин был зарезан, а теперь это же ждет меня...»

Но даже папа Арсения, авторитетный ученый, доктор наук, не убедил меня в том, что это книга как книга, не таящая в себе никакой тайны. Я опять спрятал ее в шкаф, изредка в часы бессонницы вытаскивая наружу и вглядываясь осоловелыми гла-

зами в загадочные строчки. Мне предстояло прочесть много других книг, но без этой, главной, почему-то все не ладилось, не становилось на свои места...

Арсений вскоре уехал поступать в институт в Санкт-Петербург (на факультет востоковедения, естественно), я больше его не встречал. Другим знакомым (а надо заметить, у меня их было не много, без преувеличения — я человек очень одинокий) ее не показывал. Варька тоже не видела эту книгу — к счастью. Иначе б она разорвала ее на мелкие-мелкие клочки. Как и призрак Сююмбике, та старая книга стала моей тайной, которую я не разглашал, остерегаясь возможного непонимания и насмешек. Ведь представьте себя на моем месте — что я объясню? Она мне с неба свалилась! А больше ничего не знаю...

Все глубже вонзалась грустная мысль: мне не нравилась та жизнь, которой жили окружающие, я не видел в ней абсолютно ничего, даже не за что зацепиться. Внутренние родителями правила сводились к банальному «надо хорошо себя вести», но что именно подразумевалось под этим «хорошо», чем их «хорошо» отличалось от моего «плохо»? Почему я должен следовать тому, что никогда не соблюдается? Варя любила читать мне мораль. Я ненавидел бессмысленные разговоры в духе «выколоти тебе правый глазик — дай выколоти и левый», родительские поучения об уважении и почитании, потому что каждый день сталкивался с бессовестным их нарушением. Везде таилась фальшь, все друг друга подло обманывали, и мне ужасно не хотелось участвовать в этой комедии, изображать паиньку, кривить душой.

Я стал жить только собой. Своими хобби, своими заботами. Но до чего же это стало казаться мизерным, недостойным! Ведь я ограждал себя от встреч со всем дурным, засовываясь в интеллектуальность словно в улиткину раковину, а в одиночестве так легко прослыть добрым! Ты никого не трогаешь, нет противоречий, нет и неправильных поступков. Множество обычных радостей, встреч и столкновений, жертв и компромиссов проходило мимо меня. Ангел, со всех сторон обложенный чистой ватой, — как ему запачкать белейшие крылышки? Лежит он в ящичке, висит на елочке, всегда беленький, сахарный, глазурный. Таким я был тогда, и в конце концов мне это надоело. Хотелось жить несколько иначе, разрушив удушавшую неопределенность, ведь не понимать, кто ты, зачем существуешь, каких правил в этом мире стоит придерживаться, — очень тяжело и скучно. А главное — меня все вокруг считали безбожником, что, разумеется, было неправдой, но кто станет прислушиваться? Чем дальше продолжалось это недоразумение, тем тяжелее мне становилось. И сколько б веревочке ни виться, все равно она должна была закончиться...

В последнее время я начал серьезно задумываться над теми вопросами, на которые не сразу находил однозначный ответ.

11 сентября — обыкновенный осенний день. Лето еще не закончилось, золотая осень подступает; вроде бы и отдыхать уже неудобно, но и учиться еще не хочется. Желтеют листья, сверху и издали деревья смотрятся зелеными. Этот день словно разорвал мою жизнь пополам; все, что было после, — это уже не столько история Никиты Белогорова, сколько совершенно новое и непохожее. Вечером, в шесть часов, я включил телевизор, чтобы посмотреть «Новости», и очень удивился: по всем каналам показывали одни и те же кадры американского боевика про конец света. Я не любил американские фильмы, вообще не интересовался кино, но не мог не слышать, конечно, что в них обязательно рушились небоскребы и взрывалось здание Пентагона. Также еще должна быть гигантская горилла, давящая людей, как тараканов. «Ну и реклама!» — подумалось мне, а несколько минут спустя я догадался, что это не кино...

Окно не было видно никаких пожаров и разрушений. Казань стояла крепко, впиваясь в землю своими тысячелетними корнями. По тротуарам ходили люди. Живые. И машины тоже не спешили убираться подобра-поздорову. Пыльно-серый кре-

маторский пепел, оставшийся от башен-близнецов, буднично замел совочком американский мусорщик. Чуть позже до меня дошла весть, что в том пепле остались молекулы, или скорее уж атомные частицы, моего бывшего одноклассника — математического вундеркинда, двенадцать лет назад увезенного честолюбивыми родителями в Америку и только что принятого на работу в расположенную на 23-м этаже ВТЦ международную компанию.

Самым страшным для меня оказалось другое. Варя раздвоилась: одна ее половина сочувствовала невинно погибшим, а другая — радовалась удару по масонско-безбожной Америке. Вот такие дела. Я не знал, над чем плакать: что в башнях были мусульмане, убитые своими единоверцами, никак не походившими на карикатурных врагов, или над жесточайшим злорадством русских, смеявшихся вслед чужому горю (о, это вечное «у соседа корова сдохла...!»), или, может, над собой — человеком, которого элементарно превратит в пыль и положить на маленький пластмассовый совочек. Мне ужасно не хотелось лежать на совочке, но я не мог представить себя с теми, кто направлял эти самолеты. Я просто недоумевал: это делается во имя Бога? Это прославляет Его?! Но потом сумел разобраться, как ни боялся поднимать такие вопросы...

Я пришел к выводу, что чем больше людей будут удаляться от зла, жить в мире с самими собой и с окружающими, тем быстрее подобные кошмары испарятся как дым, более того, в них не станут верить, скажут — это слишком невероятно, этого просто не может быть. Например, когда-то свирепствовала «святая» инквизиция, но сейчас это очень далеко от нас. Кажется, что ее зверства преувеличили реформаторы, стремясь опорочить католиков. Нынешние школьники с улыбкой рассматривают «испанские сапожки», дыбы и плетки, с гиканьем «пробуют» на прочность освенцимские газовые печи...

Так и «аль-Каиду» через много-много лет посчитают невразумительным явлением, ничего не значащим и уж тем более не означающим, что из-за «аль-Каиды» невозможно быть мусульманином.

Напротив, нужно быть хорошим мусульманином вопреки «аль-Каиде». Аллах рассудит, кто был лучше, я или Бен Ладен. Мои размышления чересчур наивны? Да, я думал душой, а не головой, поэтому не всегда эти мысли получалось облечь в красивые и правильные слова, годные для учебника философии.

Во втором семестре я стал преподавать у второкурсников, в новых группах. Там вопреки всем традициям верховодили девчонки, умные, язвительные. Как ни удивительно, матриархат ребят устраивал, хотя они тускло терялись на ярком девичьем фоне. Мне советовали не соглашаться вести у них семинары: мол, группа сложная, противоречивая и разнородная. Я к этим советам не прислушался. Но, познакомившись со своими студентками, понял, о чем меня предупреждали. Они были настолько красивы, что учить их мог разве что отчаянный женоненавистник. Или какой-нибудь замшелый содомит. Хотя и он, наверное, скрытно бы поразился красоте восемнадцатилетних татарок. Увидев этих девушек, я вспомнил византийскую легенду о целомудренном юноше, ослепившем себя, дабы не попасть в дьявольские сети соблазна, которые плела ему некая прелестница. А что бы он сделал, увидев двадцать три райские гурии?! Точно, оскопился бы...

Диляра Вафина, или просто Диля, по-венециански рыжая бестия, маленькая — метр с кепкой, с веснушками, раскиданными вокруг острого носика, повязывающая всегда на голову ядовитых цветов платок (чего требовали от нее не очень строгий папамулла и придуманная «стыдность» рыжины), любительница китайских джинсов в рубчик и мягких тайваньских тапочек. Она была очень странная и противоречивая. Начитанный клоун-эксцентрик. В ней непонятным образом сочеталась патриархаль-

ность и современность, она одевалась всегда по-разному, была сразу и застенчива, и нахальна, стыдливо не переносила пошлостей и сальностей, но сама временами отвешивала такое, чего уж точно не ожидаешь услышать от дочки муллы из Азимовской мечети. Или в кругу семьи Диля была другая? Нежная, мягкая, скромная?

Наше знакомство началось с потрясения, впрочем, каждое мое столкновение с Дилей оборачивалось им. Я рассказывал на лекции об Ашшуре, кровавадной империи, не забыв о моем любимом чудовище — «мушхушшу», великолепном змее, так это переводится с мертвого аккадского языка. У него масенькая змеиная головка, драконье чешуйчатое тело, тонкий длинный хвост со скорпионьим жалом, две лапы — орлиные и две — львиные, а еще есть рог. Диля от этого зверюги пришла в восторг и даже сочинила стих, намалевав его огромными буквами на зеленой стеклянной доске:

*Мушхушшу, змей великолепный,
Из Вавилонской выполз тьмы.
Гроза Аккада и Ашшура,
Он больно жалил всех врагов
Навуходносора отважно
Защитать всегда готов.
Теперь мушхушшу — зверь домашний,
Неядовитый и ручной.
Сидит неслышно он в сторонке,
Дитя неведомой страны,
И тихо-тихо, на рассвете,
Переживает свои сны.*

«Мушхушшу» воодушевил студенток на целую поэму, где бедная химера изображалась свидетельницей расцвета и падения великого царства Навуходносора, к концу жизни свихнувшегося, евшего траву вместе с животными. Диля затея увлекла и меня. Я продолжил ее — о том, что «мушхушшу» оказался один-одинешенек, так как ему злые вавилонские идола не додумались «подарить» пару, великолепную змею женского рода. С горя «мушхушшу» молит выдуманных междуреченских истуканов, но они не откликаются, потому что существуют исключительно в богатой человеческой фантазии. Тогда к страдающему чудушю приходит Ибрагим, единственный, кто знал в те непросвещенные времена истинного Бога, и просит о помощи: мол, за что бессловесная животино мучается?! Всем Ты дал пару, а про «мушхушшу» забыл, хоть он и служил когда-то «по молодости, по глупости» мерзким идолопоклонникам. Всевышний, пожалев химерическое создание, дарит «мушхушшу» возлюбленную, такую же чешуйчатую и когтистую, как он хотел. В хэппи-энде «мушхушшу» на все лады клянет ни на что не годных вавилонских идолов, и славит Аллаха за то, что создал для него столь прекрасную спутницу. Конечно, здесь речь шла не только о мифологическом «мушхушшу», я пародировал классическую персидскую поэзию, тонко намекая, что без подружки — никуда. Уж больно очаровался Дилей, все думал о ней, думал, понимая, что влюбился, надолго и безнадежно...

Что-то со мной стряслось. Я не ругался с Варькой, не мог прийти в себя, все видел Дилю, нагло появлявшуюся у меня перед глазами, как только я их закрывал. Спрашивал у мамы, не было ли у меня в детстве хвостика, потому что только каким-нибудь атавизмом можно было объяснить происходящее в моей душе. Почему Диля? Мы из разных кругов, которые пересекаются разве что в невероятной геометрии казанского сумасшедшего Лобачевского. Диля Вафина — девушка все-таки религиозная, поря-

дочная, своенравная и современная скорее для имиджа, потому что университет светский, надо постоянно отстаивать свои воззрения. Что со мной творится, что? За ней не поухаживаешь — папа жениха найдет, сторгуется, скажет дочке, кого ей выбрал, за минуту перед «никахом», а я остаюсь один. Почему она, почему? Дила — моя студентка, за нее мне снимут голову, расстреляют, четвертуют, подвешат на дыбу, изжарят на чугунной сковородке, несмотря на то, что разница между нами смешная, а мужчине не возбраняется быть старше лет на пять.

Я решил, что Дила останется для меня чем-то вроде призрака Сююмбике: увидишь ее иногда на башне, да и то закутанную с головы до пят в голографические одежды, а о любви заикаться не смей! Ишь что выдумал! Влюбиться в татарку! Тебе, русскому, формально православному Никите! Неприятностей захотелось? Причем с обеих сторон. Но меня это уже не останавливало. Любовь — ладно, подождем-посмотрим, а почему бы не попытаться просто завоевать ее доверие интеллектуальными беседами? Только надо найти тему, одинаково увлекающую нас обоих, тему, которая не исчерпается спустя две-три недели, на которую хоть целую вечность говори — не обговоришь...

Потом нашел, нащупал тайным чутьем. На лекции, рассказывая про культуру Древнего Египта, я нахально заметил, что и в наши дни случаются абсолютно фантастические вещи, превосходящие наивную жреческую магию. Подумаешь, саранчу напустить, ерунда какая... И поведал им странную историю появления того самого стамбульского Аль-Корана 1911 года издания. Ну хоть что со мной делайте — не знаю, откуда он у меня оказался! Ничего я не понимаю! Может, кто-нибудь это мне объяснит? — распинался я перед студентами. Дила посмотрела, словно директор интерната на подопечного идиота (а что, я и был идиотом, нечего стесняться), сказала ехидно: а вы прочесть не пробовали? Там ведь написано, почему все так, а не иначе... Я вздохнул. Тяжко-тяжко. Сколько на свете мне еще неизвестно! Надо бы, конечно, взяться. И ради Дили Вафиной, и ради себя, Никитки Белогорова. Разумеется, ни мама с папой, ни сестрица Варька этого не одобряют. Но я пока им ничего не раскрою.

— А вы случайно не старообрядец? — спросила меня после семинара Дила.

Я удивился. С чего это она думает, что я старообрядец? Нисколько, отвечаю, не было в роду никаких старообрядцев.

— Не обижайтесь, — говорит Дила, — у вас философия, да и вообще отношение к миру, очень близки к старообрядчеству. Честный человек старается жить, не причиняя никому вреда, размышляет над вечными вопросами, судя по поэме, которую дописывали за меня. Чем-то вы мне напоминаете старовера из сибирского скита, а как это нормально объяснить — не знаю. Ну, встречаются такие философы, вот вы из них. Понимаете?

— Что вы хотели сказать этим, догадываюсь. Я действительно такой «философ», только писать это слово лучше в кавычках. Мне ужасно не нравится жить на «русской улице», и иногда я об этом рассуждаю, только и всего.

— «Русская улица» — это что? — удивилась Дила.

— Ну, это русская диаспора, косная, шовинистическая, почти не интегрирующаяся... Не важно где — в Израиле, в Германии, в Татарстане... Они ненавидят «чужих», презирают их и все, что с ними связано. Я то и дело слышу родительские окрики: не смей учить татарский, не смей общаться с «нерусскими чурками», не смей влюбляться в татарских девочек...

— А вы влюблялись?

— Конечно. Но не в этом беда. В школе я был лучшим учеником по татарскому, участвовал в разных конкурсах, писал сочинения, иногда занимал первые места. Но родителям — молчок. Иначе заведут тарарам на всю ивановскую и окрестные сло-

бодки: ах, ассимиляция, ах, отатаривание, мой бедный русский мальчик, что они над тобой учинили?! Все нельзя и нельзя, потому что это якобы татарский национализм. А истязать меня русским национализмом хорошо?!

— Нехорошо, — согласилась Дила, — но никогда не поздно это сбросить. «Русская улица» не такая уж и страшная. Не бойтесь! А стамбульский экземпляр рискнете принести? Нам ведь любопытно! Это мне напоминает «Хазарский словарь» Павича! Там есть отравленная книжка: каждый читающий умирает на девятой странице...

«Почему на девятой? — подумал я. — Что за бред», — но тотчас же осекся. Пообещал, что принесу, мне не жалко. И сразу же в душу закралась тревога. Потому что книгу эту приходилось постоянно перепрыгивать из-за Варьки. Что если она наткнулась на арабскую вязь? А если случайно попала на глаза родителям? В какое же щеколтивное положение я могу вляпаться! Действительно, надо скорее отдать Диле — пусть ее папа-мулла читает на досуге. Но и расставаться с древним томиком мне не хотелось.

Но на этом дело не кончилось. Мама, чуткая к любым моим колебаниям, вдруг заподозрила, что я влюбился, и стала аккуратненько интересоваться, какая это девушка. Я всячески отбивался, объясняя, что чудовищно устал из-за диссертации, которая очень трудно пишется, а также сказывается весенний авитаминоз. Она мне не поверила, продолжая гадать, что это за особа, красивая или не очень, на кофейной гуще — чему маму научила в юности ссыльная алтайская шаманка.

Диссертация моя действительно продвигалась плохо. Во-первых, потому что мне дважды меняли тему, и, во-вторых, руководитель требовал достать немыслимые эмигрантские источники, а московская библиотека русского зарубежья в тот год только готовилась к открытию. Интернет таких архивов не предоставлял, слетать в Париж или в Прагу, где все это хранилось, я не мог, а на меня, тем не менее, наседали, уговаривая послать запрос в Москву, хотя это тоже было не бесплатно...

Голова у меня болела от всего сразу, но сильнее оказывалась Дила. Я так скучал по ней, ничего в общем не зная, и ждал, что она скажет: ах, Никита Алексеевич, какой же вы странный, непонятный человек, ну зачем я с вами разговариваю? Идите своей дорогой, а я пойду своей, потому что об этом черт знает что подумают и меня замуж не возьмут...

— Никита! Смотри, что у меня вышло! — подошла мама с белой кофейной чашкой в руках. — Видишь этот завиток? Означает — роковое знакомство! А эта спираль с бусинкой обещает большую любовь! — Я заглянул в чашку. На дне чашки плавали скользкие кофейные одонки. Никак они не складывались ни в завитки, ни в палочки, ни в комочки. Это была обычная кофейная масса, темно-коричневая и неинтересная. Но мама не сомневалась в своем методе. Иногда он совпадал с ходом событий: так, год назад она «предсказала» мое вхождение на поприще преподавателя, а еще раньше гуца «показывала» повышение домашних расходов, что всегда сбывалось из-за инфляции. Теперь мама «вычисляла» кофею Дилю Вафину, девушку, с которой я всего лишь разговаривал на переменах. Мама, ну зачем выдумывать?

И здесь мне покою нет! Придется идти к «лягушкам». «Лягушками» в Казани назывался небольшой фонтанчик на улице Баумана, возле которого денно и нощно кучковались туристы, назначали встречи, фотографировались, а я срисовывал его на холст. Удобнее было рисовать фонтан ранней весной или поздней осенью, когда разинутые лягушачьи пасти не извергали струйки воды и вокруг бродило не так много народу. Уж что-то, а воду можно подрисовать позже. Керамическая плитка почти высохла. Снега в круглой фонтанной чаше уже не осталось. Разложив немудреные инструменты, я стал перерисовывать моих «лягушек», не обращая внимания на флагирующую публику. Долго рассиживаться там я не собирался, поэтому, набросав все,

что мне было нужно для картины, сложил вещи и поднялся... На меня смотрела вредная рыжая Диля в черном модном полупальто, в красноватом платке с турецкими огурцами.

— Я за вами наблюдаю, не сердитесь! У жаб — мое излюбленное место, специально не стала вам мешать.

— Ничего, — пробормотал я, удивленный, что рисовал и не заметил ее, — ничего. Я, как только сажусь рисовать, сразу отрубаясь, перестаю замечать людей, не слышу, если ко мне обращаются... Полное погружение в творчество! Иначе не получится картина... Побегу теперь домой — рисовать уже красками по этим наброскам. Я обычно не беру с собой все, чтобы не растерять, доделываю не на улице...

— А если эта картина вас не устроит, вы мне ее продадите? — спросила Диля.

— Не знаю, я мало рисую, может, и отдам за чисто символические деньги, это ж не Ренуар...

— Символические — это сколько? — спросила она.

— Ну, рублей двести, — вздохнул я, понимая, что Диля еще и жадина.

Ужасно не хотелось уходить, но я попрощался и ушел. Вообще, кто такая эта Диля? Почему я ее и терпеть не могу, и люблю?! Всю дорогу я не переставал возмущаться. Узурпировать «жаб»!!! Тьфу! Это мои, только мои «жабы», никакой Диле Вафиной они не принадлежат! Вообще обнаглела!!! От возмущения даже позабыл, что это все-таки лягушки...

А после вспомнил, на что похоже переживаемое мной. Однажды, еще в далеком детстве, я пошел с мамой в глухой темный лес. Кажется, с нами была еще ее дачная знакомая, знавшая там каждый уголок, — на случай, если заблудимся. Мы долго плутали по обобранным, истоптаным местам и в конце концов добрались до страшного оврага, заваленного буреломом, с ямами красновато-рыжей глины. Внизу били ключи, образуя вязкую топь, мох и осоки. Насколько огромен был этот овраг, сейчас даже невозможно вообразить. Метров девять в глубину, нет, больше. Но в низине, куда очень сложно дотянуться, прятались фантастические ежевичные заросли. Ежевика росла необыкновенно крупная, сладкая, ее было не просто много — пропасть! Бери не хочу. Носи ведрами. Вари варенье. Оставалась мелочь — спуститься в жерло оврага. Не по тропинке, заботливо протоптанной грибами, а съехать пятой точкой вниз. Кое-как я очутился в овраге. И обомлел. Тогда фильмов ужасов не показывали, но если б Хичкоку попалась на глаза эта ежевика, он непременно бы сделал ее героиней очередного кошмара. Толстый бледно-зеленый стебель, будто отлитый из прочного железа, с адски острыми шипами, каждый размером с детский ноготь, спутывался в непроходимые ежевичные «космы». Я понял, почему дачники не собирают эту ежевику. Она одним своим видом сводила в могилу. Но ягоды у нее вызрели — темно-синие, с сизым налетом, не меньше породистой малины. Не взять их нельзя. И братъ жутко. Я стал срывать одну за одной, боясь попробовать на вкус. Ведерко наполнялось. Прошел час. Ежевикой были забиты все емкости: пластиковые баки для воды, берестяные тески, мое ведерко. Пора было выбираться отсюда. Но стальные шипы больно впились мне в тело, не желая отпускать ни на шаг. Казалось, будто ежевичные ветви требуют кровавой жертвы, и я — маленький мальчик лет шести — идеально подхожу для этого древнего ритуала. От страха похолодело в груди. Неужели я не отцеплюсь от ежевики и превращусь в белеющий обглоданный скелетик?! Я вырывался и дергался как кукла из театра марионеток, пытался освободиться от занозистых шипов, разрывая рубашку, не придавая значения все новым и новым красным полосам на своих руках и ногах. Еле-еле, с маминной помощью, я смог вырваться... Ощущение спутанности чем-то необъяснимым запомнилось навсегда. Теперь я не у ежевики в плену, я у Дили в плену, а она такая же, с шипиками. Наверное, даже хуже,

потому что колючки царапают кожу, а Диля ранит сердце... Но без нее я уже не мог жить.

В ближайшую же лекцию Диля спросила у меня, не соглашусь ли я нарисовать ее портрет. Я объяснил, что никогда не рисовал ничьих портретов, ни мужских, ни женских, и понятия не имею, как к ним подступиться. Да и вообще, изображение человека — дело не совсем законное...

— Что же вы рисуете?! — воскликнула Диля.

— То, что нравится, — купеческие особняки, мечети, башни кремля, — ответил я. — А следующая моя картина будет про чулан. Темный такой, с пыльным веником, прохрудившимся корытом, снопиком зверобоя, а наверху, под потолком, висят толстые летучие мыши.

Девчонки панически боятся милых рукокрылых, и одно упоминание о них может вызвать стойкое отвращение к моей антихудожественной мазне. Но Диля улыбнулась и сказала:

— А ведь я обожаю «летучек»! Хорошая получится картина! Меня не рисуйте, не надо, я пошутила. — И отошла в сторону. Я понял — Диля догадалась обо всем. Что лучше мне от нее отстраниться. Что я не хочу с ней разговаривать.

Прошла неделя. Диля Вафина тихо сидела на моих занятиях, не задавала никаких вопросов, не подходила на переменах. Мы вновь оказались настолько далеки друг от друга, что ничего, кроме учебных формальностей, меня с ней не связывало. А мне было грустно, и я стал назло всему рисовать Сююмбикку, точнее — Диллю в образе Сююмбики. В то время я еще не знал, что Диллю в домашнем обиходе иногда называют Сююмбикой за ее упрямство и своенравие. Прозвище это придумала Дилина мама — тоже миниатюрная, хрупкая женщина, русская, приехавшая в Казань учиться, да так и оставшаяся из-за мужа-татарина. В судьбе Сююмбики она видела горький пример упрямства, от чего, конечно, старалась предостеречь дочь. Картина создавалась быстро, я жил ею, ничего не замечая. В ней слишком много белой краски, заметила Варя. Но это же призрак, — объяснял я, — он должен быть белым-пребелым... У Сююмбики получилось ее лицо. Белое словно маска венецианского карнавала. Мертвая дама. Которую я не мог забыть много лет. Которая снилась мне. Которая молча пряталась от меня по университетским коридорам. Хоть бы она заговорила! Но Сююмбика молчала...

Книга оставалась у нее. Пусть, подумал я, мне она ни к чему. Но потом всполошился. Попросил Диллю, если ей эта книга уже неинтересна, может, вернет. Она сказала, не смотря в мою сторону, а куда-то вдаль, в окно: возле башни Сююмбики еще лет пятьдесят назад бил прозрачный ключ. Рассказывают, что под ней был погребен один очень праведный человек, и эта вода шла из его черепа. Люди приходили к башне, утоляли жажду кристально чистой водой, а затем вдруг она пропала — начали строить дамбу, переворочили землю, и вода не нашла себе выхода. Но рано или поздно она пробьется сквозь грязные толщи, потому что мы всегда будем испытывать жажду... Мне жаль, что ваша жажда закончилась столь рано...

— Жажда чего? — спросил я, хотя разгадал смысл этой странной речи. О башне Сююмбики я ни разу не упоминал в разговорах с Дилей.

— Жажда истины. Разве вам это незнакомо?

— Признаюсь, да. Но зачем вы говорите в духе Коэльо? Я не балуюсь алхимией...

— Настроение у меня такое. Хочется сказать, а слов не подберу. Вы будете читать свою книгу?

— Конечно!

— Ну, я ее верну, когда научитесь читать. Согласны?

— Естественно, — ответил я.

Читать по-арабски. По-моему, это не буквы, а узор, о который можно сломать глаза. Боюсь, все окажется настолько сложным, что я брошу через неделю. Но Диля была непреклонна: вы обязаны. Тут не до разговоров. Такую она приобрела надо мною власть, что я молчал и слушал. Стало понятно, почему грозные султаны, без колебаний рубившие головы, могли запросто подчиниться жене, и не единственной, а одной из сотен или тысяч, не считая всяких пленниц. Меня уже не было, я становился рабом второкурницы Дили Вафиной, причем рабом нелюбимым, которым она вертела как хотела. Наверное, точно — она реинкарнация Сююмбике и перенесла в свое новое воплощение старые привычки, в том числе и помыкание бессловесно влюбленными служителями-кастратами. «Я для Дили — нечто вроде деревянного истукана, да еще и дурак, — думалось мне. — Это она нарочно измывается. Раньше требовалось изрубить в фарш дракона, но с тех пор, как последний из них — крылатый Джилас, оказался в засушенном виде на казанском гербе, красавицы стали придумывать еще более жуткие испытания надоедливим поклонникам».

Выучить арабский мне казалось невозможным не потому, что это трудный язык, странные буквы, — напротив, арабистика стала модным направлением, и я часто сталкивался со студентами, корпящими на подоконниках над каллиграфическими упражнениями. Я боялся гнева и мести «русской улицы» — родителей, Варьки, другой родни, соседей, знакомых, иначе бы давно прочитал ту подброшенную мне книгу. А скрывать это уже устал.

Нет ничего хуже двойной жизни, постоянного умалчивания и недосказанности. Если я собирался рисовать мечеть — неотъемлемую, по-моему, часть казанской старины, то старался утаить это. Листы эти — бледные пастели, водянистые акварели, с Марджани, с Азимовской, со Старой, с Соборной — были самыми удачными из всего нарисованного мной за те годы. Но я хранил их не дома, а на кафедре, в рамочках, будто это и не мои картины, а чей-то подарок. Казанские мечети я не мог не любить и с удовольствием пропадал на чудом сохранившихся старых улочках, чтобы посмотреть упирающийся в небо минарет второй половины XVII века. Мне доводилось слышать, что в Казани, давно окультуренной и отстроенной русскими, всякая «азиатчина» — мечети, башни, оборонительные кремлевские стены — воспринимается вкраплением чего-то чужеродного, в той или иной мере портящим классический облик города. И никогда с этим не соглашался. Не только потому, что Казань для меня всегда оставалась татарской. Я не представлял Казань без этой «азиатчины», для меня самым главным была она, а не Александровский пассаж, не дом Кекина, не соборы и храмы, не унылый Соцгород, не далекие скучные Дербышки...

Школьник я болел каждую зиму и, выздоровев, в оттепель, в слякоть спешил прикоснуться к ажурной решетке арочных ворот башни Сююмбике, словно проверяя, цела ли она... Узор ее я помнил наизусть, но когда глаза натыкались на точно такую же решетку у Петропавловского собора, она теряла свое магическое очарование. Будто это другое, чуждое, немилосердно смеялось над моей любовью к башне. Я гляделся в вязь непонятных надписей, в шести- и восьмиугольные орнаменты, и знал, что вот ту мечеть сооружали по проекту архитектора Песке, а эту перестраивали из более старой деревянной (и когда — в богоборческие двадцатые!), но, ясное дело, никому никогда не мог и обмолвиться о сотовой доле того, что чувствовал. Чувства прихледи разные.

Чаще всего меня задевали поверженные полумесяцы (арабская буква «нун», как понимаю теперь) внизу православных крестов, которые всегда ассоциировались с кладбищами и смертью. «Как можно вытерпеть такое наглядное попираание веры? — размышлял я, — это оскорбительно!» Как-то я наткнулся на книгу татарского писателя Айдара Халима, и там был такой отрывок:

«...Но я не понимаю, почему позолоченный черенок главного креста храма Христа Спасителя прокалывает такой же позолоченный и филигранно отделанный мусульманский полумесяц?! Ведь не было случая, чтобы символ одной религии так издевался над символом другой религии! И на такое никто почему-то не обращает внимания! Объясняют, что полумесяцы, проколотые крестами, появились на православных церквях после присоединения Казанского ханства, с 1556 г. Но почему-то турки после 1453 года не стали прокалывать кресты полумесяцами...».

Но позже догадался — все неправда. Крича о победах и превосходстве, они создавали иллюзию этих побед и превосходства. Когда я проходил возле таких мест, то сердце невольно сжималось. Было великое Казанское ханство. На изумрудно-зеленой скатерти волжских лугов перед взорами усталых путешественников открывался прекрасный белокаменный кремль. И тут его захватили русские, естественно, подрубив на взлете, подвзорвав, уничтожив тысячи людей. Надругались, как положено, над верой завоеванных, а после в честь этого воздвигали свои церкви, чтобы помнили, кто кого одолел и чья отныне земля. Быть может, именно на этом месте, где стою, просочилась кровь имама Кул-Шерифа, отчаянно, несмотря на силу «москвитов», защищавшего свою Казань. Вот он уж точно имел право называться шахидом, потому что бился за родную землю, за веру. А если тут ступала Сююмбика, уже пленница? В общем, я сразу, честно и безоговорочно принял «другую» сторону, тех, кого меня учили (да, именно учили мама с папой и Варька) ненавидеть. Я же любил ее безмерно, вместе с кремлем, с башнями, Сююмбикой, с Кул-Шерифом, с Казанкой, с Черной, с Кабанами, где затоплено ханское золото. И если бы мои родители надумали вдруг покинуть Казань, то я не сомневался, что брошу их, останусь, пойду к беспризорникам, к нищим, лишь бы не расставаться...

Родители Казань не любили не только потому, что это был нерусский город, где к перезвонам колоколов добавлялся протяжный голос муэдзина, где слышалась татарская «тарабарщина», а в молочном продавалась сюзьма с легкой кислинкой и катык, похожий на украинский варенец, в кондитерских — татарский медовый хворост чак-чак. Их нетерпимость держалась на небеспочвенных опасениях, что эта чужая земля может стать для меня своей. Что я перестану быть русским. За Варьку никто не волновался. Уж кто-то, а она точно не допустит, чтобы в домашнем рационе появился чак-чак. Его я, кстати, тайком ел по выходным в каком-нибудь кафе или в татарской кулинарии подальше от нашей улицы, для чего всю неделю копил деньги, выдаваемые на школьные завтраки. И ничего вкуснее этого запретного плода — чак-чака со свежей сюзьмой, мне не попадалось... Оголодав, я покупал татарский мясной пирожок с дырочкой посередине, куда добавляли бульон, — «эч-пачмак». Готовили его по-всякому, но точно знаю, что свинины, которую не терплю сызмальства, туда не добавляли.

После меня начнут терзать, что я изменился внезапно, чуть ли не проснулся другим, но не верьте этим словам. Просто очень долго меня обуревал страх, и я не мог никак его преодолеть до встречи с Дилей. Я давно стремился к необъяснимому, что начало разворачиваться тогда, но не хотел приносить страдания близким. Разве мое счастье может устоять на маминых слезах? Вот вырасту и все решу. А пока надо подождать. Я надеялся, что с годами мои близкие пообвыкнут и перестанут ограждать меня от всего татарского. Как-никак, мы сюда приехали навсегда и помаленечку надо приспособливаться. В конце концов, сюзьма — очень даже полезная кисломолочная штучка. Но прежде чем привыкнуть, ее следует распробовать. Распробуют — и поймут, насколько ошибались. Поэтому не решался заняться арабским, не посмел пере-

убеждать их в том, что это мне дорого, что я не представляю для себя иной жизни, что я не могу затащить свое упрямое тело в церковь хотя бы ради мира с Варькой.

Но Дия изменила все. Отныне она сняла с меня это тяготеющее проклятие, я перестал бояться себя и своих мыслей. Любовь — это и рабство, и освобождение. О рабстве уже упоминалось. Об освобождении я догадался только тогда. Дия отделила их от меня. «Русская улица» исчезла с моего горизонта. Плевал я на нее! Произошло это абсолютно незаметно. Я просто решил, что не буду ничего скрывать ни от родителей, ни от Вари. Буду собой.

Первое время мне все сходило с рук: дома разговоры о «Никиткиной девчонке» прекратились, Варя уехала сдавать сессию (она параллельно училась в другом городе), в моем расписании высвободилось четыре будних вечера, стоял снег, подсохли улицы, темнело уже не столь рано, и я начал посещать курсы арабского языка. Прямо в родном университете, никуда не уходя, не отвлекаясь, не спеша, небольшую группу (которая, чем дальше, тем становилась меньше) учил выводить изящные буквы бывший торгпред в Саудовской Аравии, смешной дядечка среднего возраста. Происходил он откуда-то из-под Бухары, где даже в самые жуткие атеистические времена редкий мальчик избегал учебы в подпольном медресе, а потому еще в четырнадцать лет выучил наизусть весь Коран и, чтобы не забыть, отправился поступать на отделение арабистики. Большую часть жизни он проторчал где-то в окрестностях Мекки, представляя страну победившего социализма, дружил с шейхами и очень переживал, что на излете перестройки пришлось вернуться в совершенно забытую Россию. В Москве он не прижился, а потому перебрался в Казань, где можно было выехать и на арабском скакуне. Многие называя его муллою, но ошибались. Он всего лишь был хорошим человеком, навсегда запомнившим полученные в детстве уроки. Я сразу понял, насколько мне повезло, что попал именно к нему. Арабский язык давался всем трудно, и, если б не терпение, проявляемое этим человеком, не уверен, знал ли бы я хоть что-то.

В нашей семье сложилась традиция, что в апреле, перед православной Пасхой, мы скопом идем на старое русское кладбище, а несколько дней спустя выстаиваем службу в далекой и непарадной церквушке, уж очень полюбившейся Варьке. Я ужасно не хотел никуда идти, отчего каждую весну разгоралась одна и та же ссора. Родители, чтобы не ввязываться в неприятные разговоры, всегда соглашались идти в церковь, а я отказывался. Но самое гадкое было в том, что я не мог объяснить свое непосещение церкви неверием. С детства, сколько себя помню, я знал, что Бог есть, и верил в это совершенно искренне, но терпеть не мог православного лицемерия, расплавленного воска, обжигającego пальцы, лицедействующих и лицезреющих. Обманывать сестру я стыдился, и поэтому честно говорил: не пойду.

Тогда мама зашла ко мне вечером еще на исходе марта.

— Никитка, вот и снова Пасха наступает, очень тебя прошу — не ругайся с Варей, не обижай ее...

— Мама, Варя обижает меня, а не я ее.

— Никита, послушай меня, я измучилась смотреть на ваши дразги, пойди хотя бы сейчас на компромисс, выстой службу с нами, ради сестры, ведь ты ее любишь...

— Мама, я не высыпаюсь, и провести ночь на ногах нет сил, я засну и упаду, да и Варе покажется мой приход в церковь чистой формальностью... Она не поймет, не оценит, а главное — ей это не надо. Совсем не надо.

— Никита, скажи, ты что — никак не веришь?

— Я верю, мама, ты же это хорошо знаешь, но я не Варькиной веры...

— Какой же ты тогда веры?

— Своей, мама. Я не могу лгать, и Варе не нужна эта ложь. Она хочет, чтобы я смирился, а я упрямый. Не дождется!

— Это та девушка на тебя влияет в таком духе?

— Мама, какая девушка, я не рассказываю ничего, потому что ничего нет, а не для того, чтобы скрывать, нет у меня девушки, тем более татарки, с которой я элементарно не смогу поговорить!

Но мама мне все равно не верила. В итоге на пасхальную службу я опять не пошел, посвятив свободное время чистописанию, приучая свою руку к арабской вязи. Завел себе обычную тетрадку и строка за строкой рисовал. Именно рисовал, потому что буквы эти напоминали невесомых тонкокрылых птиц, они не пишутся, а изображаются. Одна была скандинавской руной, одна — свернувшейся коброй, любопытно поднявшей голову на длинной шее, одна вообще была кружочком, одна — палочкой с точечкой, и все равно они казались мне одинаковыми. Я плутал среди букв, словно в жутких тропических зарослях, я ничего не понимал, зачем вообще в моем рюкзаке оказалась эта книга и как ее читать в противоположную сторону...

Но каллиграфией лучше заниматься на больших листах бумаги особой тушью и маленькой кисточкой. Хотя раскладывать их в моей комнате оказалось негде. Поразмыслив, я перешел в большую — комнату родителей. Там на полу помещались все листы, я их перенес и стал вырисовывать арабские буквы, опустившись на колени. Со стороны это напоминало сакральный ритуал, да так оно и было. Я самозабвенно рисовал, не подозревая, насколько быстро летит время...

Служба закончилась, мама, папа и Варька вернулись домой, но я ничего не слышал. Отворилась дверь, и они увидели меня, склонившегося над белыми листами с красивыми лебедями арабских буковок. Я ожидал скандала, криков Варьки, но меня встретило молчание: они устали, были сонные и ничегошеньки не понимали. Мигом убрав рисунки, я выскочил из комнаты, помыл руки и лег спать. Я стал постмодернистом, скажу им завтра утром, — перешел с конкретных предметов на абстрактные символы различных алфавитов. От тайского до иврита включая пиктографию черноногих индейцев, так что выбор арабской каллиграфии в общем-то случаен и ничего не значит. Модерн — дело заковыристое...

Обычно в такие ночи не засыпаешь долго, ворочаешься, но я заснул и увидел очень старый сон. Он часто мне снился на протяжении многих лет, почти все тот же, лишь иногда добавлялись новые детали. Будто я иду один летом после дождя по дорожке к озеру Кабаны. Мелькают дома, деревья, но озера все нет и нет, хотя я знаю, что оно совсем близко. Наконец оказываюсь перед озером, которое не похоже само на себя. Вместо привычной мутной илистой водицы сверкает чистая, прозрачная гладь, словно выплеснутая откуда-то из кристального родника. В ней отражается солнце, глаза слепят блики, и я подхожу к воде, чтобы намочить руки. Но я становлюсь каким-то иным, не тем, кем был до озера, это и не видно, и, тем не менее, понятно. Я — другой, не надо притворяться, играя чужую роль, свободен, открыт, честен. Кажется, что вся прежняя ложная жизнь мне снится, а настоящая здесь — у берега чистого сверкающего озера...

Проснувшись, я понял, что ничего не стану объяснять. Это бессмысленно. Надо только перехитрить Варьку, чтобы она ни о чем не догадалась. Мне казалось, будто сестра сможет вмешаться в мою жизнь и устроить братцу какую-нибудь пакость. Ну, корейского мини-свина подарит, ну перестанет разговаривать, но не убьет же! Тогда среди русской интеллигенции — в том числе и в Татарстане — всходили колючие ростки антимусульманских настроений. Я представлял их в виде маленьких игольчатых кактусов, из которых, если умело поливать и подкармливать, вырастают чудовищные ядовитые заборы.

Они полагали, что дают соразмерный ответ нарастающему татарскому сепаратизму, и объединили несколько самых одиозных православных приходов в конспира-

тивное общество. Формально его не было, реально оно действовало, подогреваемое татарскими скандалами — из-за латиницы, из-за вкладышей в паспорт... Русские вели себя кошмарно, я это знал, и татары были не лучше, но даже представить себе, что мне будет угрожать не кто-нибудь, а сестра, было почти невозможно. Тем более, я был влюблен, многое виделось мне в розовом свете, да и времени посидеть-подумать у меня не оставалось. Разумеется, до меня доносились тихие «звоночки» — предупреждения о том, что с Варькой не все так гладко и ровно, как поначалу казалось, и надо бы настрожиться. Но, повторяю, в тех условиях я оказался глухим и слепым.

Лишь тогда я начал беспокоиться и за себя. Наш арабист иногда рассказывал про всякие восточные странности — вернее, странностями это считалось с европейской стороны. Студенты почему-то очень интересовались талисманами, может, потому, что они вновь входили в моду, и расспрашивали, как уберечься с их помощью от укуса змеи или от скорпионов. Наслушавшись всего этого, я захотел обзавестись каким-нибудь талисманом, понимая, что Варька намного ядовитее всех змей мира. Преподаватель пообещал отдать один свой браслет наиболее преуспевающему в языке, исходя из результатов контрольной работы. Удивительно, но он подарил браслет мне — за усердие и хороший почерк, хотя я присоединился к группе позже, даже, как казалось, отставал. Нацепив на запястье широкий деревянный браслет, я ничего не почувствовал, но все же поверил в его защиту. Браслет был склеен из двух половинок, внутри полый — в полостях лежали микроскопические кусочки пергамента с отрывками из Корана. «Мало ли что, пригодится», — подумал я.

Вечером я отправился в семейство Вафиных. Жили они в старой Казани, в доме середины XIX века. Часть его занимали какие-то конторы, а сзади располагались квартиры, причудливо нарезанные из когда-то просторных апартаментов. Я зашел в парадное и обомлел. Широкою лестницу украшала прекрасная решетка с драконом! Дракон был изумительный, длинный, ощеренный, крылатый, с причудливо изогнутым тонким хвостом. Вот так чудо — Дилин дом! Я позвонил в дверь. Мне открыла Диля.

— Ну, дракончик наш вам понравился?

— Еще бы! Красавец! Я как-нибудь приду, вырву решеточку на память.

— Увы, это невозможно: уже пробовали, все зубья поломали — даже не пытайтесь! Джилас просто так, кому попало, в лапы не дается!

Дома была мама, готовившая ужин.

— Отец придет после вечерней молитвы, — сказала Диля, — я его предупредила об этой истории, так что будем разбираться вместе. А насколько ж вы продвинулись в изучении арабского? — ядовито спросила Диля. — Нате, читайте, — она встала с кресла и взяла книгу. Я узнал ее — это был мой Коран 1911 года. Не думал, что время и земля так испортили обложку. Сафьян вытерся. Углы обкусали мыши. Но, не думая об этом, я стал читать Диле...

Неправильно, вы читаете, как в Европе, а мы в Азии находимся. Это вам не французский роман. Смотрите, то есть слушайте!

Диля читала нараспев, как ее наверняка учил отец, читала красиво, со всеми положенными артикуляциями. Я был настолько заворожен ее голосом, что пристыженно замолчал и слушал эту музыку, записанную небесными ногами. Я знал, что люблю Дилю, и знал, что всегда был мусульманином и никогда не думал иначе. Просто мне слишком долго запрещали быть собой, а я, дурак, подчинялся. Диля читала, по-моему, целую вечность, тогда могло остановиться время. Но оно все-таки не остановилось. Остальное помнится смутно. Напоследок, когда я уже завязывал шнурки, Дилин отец наклонился ко мне и тихо сказал:

— Молодой человек, не верьте, что Сююмбекин сын крестился, он же хан, Гирей! Мало ли что русские напридумывают!

— А я никогда в это и не верил, — ответил я.

— Ну и молодец!..

Со второго курса я занялся эмигрантами. Это считалось все еще модной темой, пусть и не настолько, как в перестройку, и к тому же мой руководитель был из семьи КВЖДинцев. Дома у него сохранился чудом вывезенный из Китая архив — тоненькие, пожелтевшие книжечки, подшивки журналов, давно потерявших обложку, связки писем, фотографии, афиши, билетки, зеркальца, флакончики. Пиши про них, советовал он, тут залежи открытий, доктором станешь, профессором! Пиши, пока я жив, пока могу подсобить с источниками, не упускай такой шанс! Тогда я интересовался если не всем на свете, то многим, четкие предпочтения еще не успели сложиться, и я внял совету наставника.

И вот, перебирая множество старых журналов, я наткнулся на упоминание о некоем Александре Кусикове, поэте-имажинисте анархистского толка, друге Есенина, эмигранте 1920-х годов. Честно скажу, я хоть и считался начитанным юношей, но больше интересовался прозой, в поэзии разбирался хуже, а учить стихи, помнится, для меня вообще было сущим наказанием. Поэтому имя Кусикова слышал впервые. Он лишь одним боком относился к моему исследованию, потому что создал в Париже «Общество друзей России», намеревавшееся знакомить французов с русской словесностью. Затея эта быстро провалилась, но мне нужно было включить о ней страничку-другую. Сведений оказалось — кот наплакал, зато удалось обнаружить стихи этого Кусикова. Я обалдел: они были фантастически хорошие.

Теперь, если меня спрашивали про любимого поэта или поэтессу, не приходилось морщить лоб в поисках неприевшейся фамилии.

— Кусиков, — отвечал я, — точнее Кусикьянц-Кусикян.

— А кто это? — брови взлетали вверх, к челкам и лысынам.

— Забытый гений Серебряного века, родом с Кубани, эмигрант первой волны. Он очень мило про любовь писал, — добавлял я рыкающим голосом, например: «я хотел ваше тело и еще и еще...»

Барышни вежливо останавливали — хватит, поняли! «А по национальности он кто?» — спрашивали меня те, кто подошнее. «Не знаю, то ли черкес, то ли армянин, в общем — не русский». Собеседники вздыхали: надо же, такая горькая судьба, джигит в Париже. Да, соглашался я, нам повезло не знать изгнания...

Стихи эти стали моей излюбленной мантрой. Я читал ее в троллейбусе по пути в университет, на переменах, когда кафедра уходила в курилку, в буфетной очереди за сочником с творогом, вечером, ложась спать, смотря в окно после неприятного разговора с Варькой. Кусиков, как понимаю, сочинял для меня. Людям двадцатых многое в нем было совершенно чуждо и дико. Кресты и полумесяцы (не прав, полумесяцы на первом месте, ибо в огромном семействе Кусикьянц-Кусикян мальчиков воспитывали по мусульманским традициям, а девочек — по христианским), смутные пророчества о грядущих религиозных войнах, какой-то «черный работник», угрожающий миру. Кусиков, лично того не желая, подготовил меня к чтению той Книги, которой он сам был обязан своим вдохновением.

Я влез в его мир без спросу, точно медиум, вызвавший «по тарелочке» духа, и узнавал его, кусиковскую, экуменическую веру. Не берусь судить об этом, ибо никто лучше автора своих стихов не разберет, но все же рискну назвать его поэзию мусульманской, своеобразным неосуфизмом городского дервиша. Христианское здесь, скорее, продиктовано любовью к сестрам и к русской нянечке, которая вязала у печки свой бесконечный серый чулок, пересказывая детишкам евангельские сюжеты. А позже, спасаясь с залитой кровью Кубани в Москву, Кусиков попал к безбожникам Шер-

шеневичу, Мариенгофу и Есенину. Представляю: сидит в «Лавке поэтов» Шершеневич, пишет богоборческую поэму, рядом Есенин чаи гоняет из самовара, растопленного раскольничьими иконами XVIII века. А в уголке правоверный Сандро Кусикьянц в феске и костюме военного покроя склонился над Кораном, вместо языческого Пегаса ему служит волшебный конь аль-Баррак, и в минуты вдохновения приходит не полуголая греческая Муза, а райская гурия, закутанная в шелка с головы до пят, одни миндалевидные глазищи сверкают.

В одну из тех ночей мне приснился сон. Станный, мистический, предопределивший в итоге все последующее. Он не походил на те сны, которые мне снились раньше, а напоминал погружение в пространство какой-то замысловатой игры с неизвестными правилами и неожиданными сюрпризами. Сначала я бродил по низкому берегу реки, влажному, в топких кочках, поросшему голыми ветвями кустарников, смотрел на блеклое, серое небо, где сквозь ватные облака тщетно пытаюсь пробиться мартовское солнце. Почти у самой воды, слегка подтапливаемые, стояли высокие, серого бетона развалины недостроенного здания, наверное, заводской цех или обширные склады. Вокруг подрастали молодые деревья, из стен торчали острия железной арматуры, валялись брошенные балки, детали неведомых механизмов, всякий сор, стекла. Крыша местами успела прохудиться, и через дыры дожди нацедили глубокие лужи мутной водицы.

Я не знал, чего ждать дальше, и стал шастать просто так, попадая то в наспех оставленную комнату, то в узкий коридор, куда едва протискивался, то натыкался на заваренные металлические двери. В конце концов мне это надоело. Уже подбираясь к выходу, в одном углу я нашел книгу, кажется, зеленую, на русском языке. Везде было пусто и пыльно, я удивился, откуда здесь книга, да еще новая, и ради любопытства открыл. Она оказалась русским переложением Корана, причем не саблукским, который к тому времени мне довелось побыстренько, взахлеб, боясь самого себя, прочитать, а каким-то иным. В оглавлении (хотя я этого точно не припомню) суры были разбросаны не по порядку, невзирая на числа, и казалось еще, что переводчику очень хотелось передать текст стихотворением — но не совсем получилось. Сколько читал, и взял ли ее с собой или положил обратно, сказать не могу, только знаю, что почувствовал на себе неуловимую, невидимую защиту. Что-то изменилось, но я никак не мог понять, что именно. Во сне тяжело думать, тобой владеет либо глупая детская эйфория, либо липкий, противный страх. Развалины превратились в лабиринт, я плутал, но не мог подойти к выходу, хотя еще недавно в каждой стенке зияло по большому обвалу, в который можно пролезть.

И тут вдруг меня окружили загадочные люди, выскочившие неизвестно откуда. Глазами их нельзя было увидеть, но я чувствовал их присутствие. Они молчали, ничего не объясняя. Так продолжалось довольно долго: я бежал, они не двигались, мои ноги подкашивались, стояло только пересечь невидимую черту. Тогда я по-настоящему испугался. Еще не хватало там застрять! Но кем были эти люди?! Увы, я попал в жуткую ловушку: развалины облюбовали последователи странного эзотерического учения, обладавшие едва ли не магической силой. Отчаяние захватило, подступая комом в горле. Я ослаб и почти проиграл. Неужто кончено?! Выскочить невозможно!

И только тогда — наверное, поздно, вспомнил, что есть Коран, очень этому обрадовался, а через минуту проснулся. Значит, вышел! Лежал ошалевший, с открытыми глазами, всё пытаюсь понять свой сон. Ночь, темно, тикают часы. Горит оранжевым светом фонарь, перекрашивая цветы на подоконнике. «Это было откровение?» — недоуменно вопрошал я, но сомнений уже не осталось. Потом уснул. Утром, как обычно, наскоро собрался и поехал в университет. Троллейбус долго не приезжал. Стоя на остановке, я все пытался вернуться в свой сон. Откровение или нет? Опаздывая, в суматошной лихорадке, я внезапно понял, что все уже было давно решено и нельзя ни в коем

случае откладывать то, что ты наметил сделать. Стремглав взлетев в аудиторию, я не думал о том, что опоздал, а о том, что сегодня же стану мусульманином. День прошел скучно, я говорил одно, а в голове было совсем другое. Сколько можно так жить, сколько можно! Ни о Варьке, ни о родителях и «русской улице» я ни разу не вспомнил.

На перемене я зашел на кафедру и, став у окна, стал набирать номер своего школьного знакомого, практиканта в музее при Казанском кремле.

— Игорь, будь другом,пусти меня на башню Сююмбике!

— Никита, ты сошел с ума! Сдалась тебе эта башня! Она аварийная! И вход запрещен! Обвалится, а я отвечай!

— Игорь, пойми, мне это позарез нужно, горит, понимаешь, я не могу больше ждать, не могу! У тебя же есть ключ, есть, ты говорил,пусти! Никто не узнает, мы тихонько проберемся, ночью!

— Никита, что ты надумал?! Зачем тебе лезть на башню?! Лестницы ветхие, провалишься — костей не соберешь.

— Игорь, прошу, я осторожно, я не упаду! Мне очень хочется взобраться! Ты же знаешь, что для меня значит эта башня, как я ее люблю! Я умереть могу, если сегодня не влезу! Пожалей! Обещаю, ничего не сделаю, Игорек!

Игорек молчал. Видимо, он понял, насколько это для меня важно, и с трудом согласился.

— Хорошо, Никит. Приходи вечером, часиков в 9. Я дежурю, и никого, кроме меня, там быть не должно. Но учти: там мыши!

— Мышей я обожаю, мышечки мои крылатые!

— Еще и хвостатые есть!

— Ничего, прорвемся, я ж не девчонка, что мне мыши!

— Ладно, приходи. Но будь готов ко всяческим неприятностям.

— Я к ним всегда готов, Игорь.

И выключил телефон. Я сразу успокоился, дрожь, терзавшая меня все это время, прошла. В мозгах прояснилось. Оставалось только завернуть домой после занятий, поесть, помыться, переодеться в чистые новые вещи. Родители еще не пришли, дома была только Варька. Она ехидно на меня посмотрела и спросила:

— Ты постный суп с грибами будешь?

Пришлось поесть постного супчика.

— Варь, мне сейчас помыться надо, — тоскливым голосом протянул я, — можно?

— Мойся, пожалуйста, — безразлично буркнула Варька, — мойдодырсь на здоровье.

Гудел фен, и я не слышал, как дрогнула дверь — вернулась мама. Надо бы бейсболку, негоже с непокрытой головой, — подумал я и прислушался. Варька громким шепотом рассказывала маме, что я готовлюсь к свиданию, раз так усердно отмывался. «Пусть думают что угодно», — плюнула я и раскрыл шкаф.

— Сумасшедший! Подниматься на башню XVI века в белой рубашке! — сказал мне Игорь, когда мы встретились под кровом музея. — Держи ключи, верхолаз! Сейчас проверим, не рухнет ли лестница. Последний раз ее чинили при царе, — предупредил Игорь, — а у летучих мышей настал брачный период. Они теперь особенно, я подчеркиваю, особенно, агрессивны! Ты все-таки полезешь, не передумал?!

— Нет, ответил я, иначе нельзя. Я мечтал об этом с детства!

— Дурачок! Там пыль веков! Держи фонарик! Сплошная тьма. Я на всякий пожарный прихватил свечей и зажигалку, вдруг потухнет. А рубашки другой у тебя и правда не нашлось?!

— Игорь, не отвлекай, а то ухнем в яму. Веди меня к Сююмбике!

Игорь открыл вход в башню, и мы очутились под темными каменными сводами. Зажгли фонарик. Высветился ход на лестницу, пронизывающую башню Сююмбике до самой вершины. Туристов туда не пускали, лишь изредка по лестнице проходил один сотрудник музея — проверить степень износа. Я ждал, что старые ступеньки не выдержат. Игорь ступал с осторожностью. Я шагал размашисто, не беспокоясь о последствиях. Ну, упадем, сломаем шеи — чего переживать-то?!

Мы устали. Пятьдесят восемь метров, это вам не шутка. Ноги ныли. Когда ж наконец откроется верхняя площадка?! Фонарь погас.

— Тыфу! — выругался Игорь, — стой, дай зажгу свечу.

Он нашарил зажигалку. Внутренности башни озарил неяркий желтый огонек. Наверху что-то зашевелилось, пискнуло, затем взмахнуло тяжелыми кожаными крыльями.

— Летучки, — прошептал Игорь, — здесь их мириады, смотри, как бы не тяпнули, они кусачие!

Одна мышь напоролась прямо на свечку и с противным хохотом откинулась назад, показав острые длинные уши.

— Ну и мерзость, — промолвил Игорь, — мне аж страшно, ты посмотри, какая рожа!

— А они на тебя взглянули и отшатнулись, мол, ну и рожа! — сказал я. — Ты мышь не обижай, она — тварь полезная. Бог в нее столько приборов вложил — и радар, и навигатор GPS, и эхолот, а ты ее, лапochку, ругаешь. Конечно, у тебя навигатор не встроен, и таскай его в кармане всю жизнь.

Ступеньки кончились. Над нами было маленькое, обложенное кирпичом окошко. Оно напоминало узкую бойницу средневековой крепости. Уже стемнело, и кусок черного неба с маленькими золотыми точками звезд смотрел на меня с высоты башни Сююмбике. Даже Игорь, парень не слишком сентиментальный, и то растрогался. Казань, говорит, чудесный вид, никогда такого не видел!

Тогда я произнес те слова, которые так много лет держал в своем сердце и только сейчас решился выговорить: *Ля иллаха илляЛ'лах ва Мухаммадар — Расулю Л'лах.*

За транскрипцию не ручаюсь.

ОТЕЦ

*Дмитрий Ищенко**

Вот уже шестой час Алик Гаджиев сидел в аэропорту в ожидании рейса. Сначала полет отложили на час, потом еще на два, и вот теперь уже шел шестой. Что-то непредвиденное произошло в самый последний момент, когда людей уже пригласили на регистрацию.

Поначалу, как водится, пассажиры проблемного рейса добросовестно изучали торговые киоски, потом потребляли купленные в них продукты, перелистывали газеты, разгадывали кроссворды, а теперь, уставшие от томительного ожидания, обреченно сидели в креслах и лишь изредка поднимались, чтобы хоть немного размять затекшие ноги.

Большую часть этого времени Алик просидел в кресле, установленном прямо у выхода на взлетную полосу. Из щелей неплотно смыкавшихся больших стеклянных дверей сквозил тридцатиградусный мороз, но Алик этого не замечал. Как не замечал он и тягостной атмосферы длительного ожидания, нависшей над людьми, собранными в не таком уж большом помещении.

Лишь однажды он встал со своего места, когда прямо перед ним на полу растянулся расшалившийся малыш. Устав от замкнутого пространства еще больше, чем привычные к подобным ситуациям взрослые, тот убежал от мамы по кругу зала и вот теперь плакал на руках у поднявшего его чужого человека. Пока мама подходила к ребенку, Алик успел поставить его на ноги и слегка отряхнуть детские синтепоновые штаны на лямках. Передав кричащего малыша в надежные материнские руки, Алик вновь сел на прежнее место и надолго уставился перед собой.

Ему было о чем подумать.

Вчера Алик Гаджиев похоронил отца. И вот теперь возвращался в Мурманск, где уже завтра должен был выйти на службу в свое отделение, туда, где служил последние пятнадцать лет.

Алик полностью отдавал себе отчет в том, что уезжает с похорон слишком рано. Что еще сделано не все, чего требуют традиции. Что не успел встретиться со всеми своими тетушками по отцовской линии. Что даже просто не успел посидеть на могиле отца и поговорить с ним. Рассказать о том, что с ним было за последние три года, которые он не приезжал в родной аул, и о том, как собирается жить дальше. Но служба есть

* Дмитрий Ищенко (р. 1971) — журналист, автор сценариев, режиссер документальных программ и фильмов, продюсер. В настоящее время продюсер Мурманского бюро телерадиокомпании «5 канал. Петербург». Автор сценария телепроекта о морской авиации Северного флота «Сокровенные люди» (ТВ-Фонд, Москва, 1999); соавтор сценария документального фильма «День рождения моря» (Финляндия—Россия, 2005); режиссер и автор сценария документального фильма «Из Вардэ с любовью» (Норвегия—Россия, 2006). Рассказ Д. Ищенко «Отец» вошел в лонг-лист литературной премии «Исламский прорыв» (2006). Призер многочисленных конкурсов киносценариев. В настоящее время как режиссер и продюсер работает над документальным фильмом о российских и норвежских рыбаках.

служба. Хорошо, хоть вообще удалось вырваться из плотного графика дежурств, чтобы успеть на похороны отца.

А дома его поняли. Надо — значит, надо. Все тяжелые заботы взяли на себя сестры.

Сидя в аэропорту, Алик сначала прикидывал, сколько времени мог бы он еще провести в родном доме, если бы знал, что трансфертный самолет задержится. Но потом решил зря себя не расстраивать. Как вышло — так и вышло. Так и сидел, изредка ерзая в кресле и отрешенно глядя перед собой.

— У меня такое чувство, что про нас просто забыли.

Алик поднял голову и непонимающе повернулся к соседке:

— Что вы сказали? — в его манере говорить слышался легкий акцент, хотя с двадцати лет, сразу после окончания службы на флоте, он жил на Севере, а домой удавалось приезжать даже не каждый год.

Женщина внимательно посмотрела на повернувшегося к ней мужчину и еще раз произнесла фразу, до этого, скорее, не предназначавшуюся никому конкретно:

— Мне кажется, что про нас просто забыли. Вы так не считаете?

Алик профессиональным взглядом отметил характерные черты заговорившей с ней женщины. На вид — около 35 лет, тонкие черты лица, прямые, до плеч, темные волосы. Дорогая дубленка, золотая тонкая цепочка на шее, аккуратно подогнанные по фигуре брюки и начищенные до блеска сапожки. Из состоятельных, решил про себя капитан милиции и неопределенно пожал плечами:

— Этого не может быть. Значит, так нужно.

Ответ собеседника женщине не понравился, и она возмущенно хмыкнула. Алик выпрямился и расправил затекшую шею. Чтобы не прерывать не по собственной инициативе начавшийся разговор и не создавать неловкого положения, он выждал еще пару минут и только потом встал. В зале ожидания было непривычно тихо. Многие пассажиры спали. Алик взглянул на часы и чуть было не присвистнул — стрелки перевалили за полночь. Но в царившей тишине он уловил еще очень далекий, но с каждым мгновением нараставший гул самолета.

Алик сделал несколько шагов между креслами и повернулся к окну. Спина к нему он просидел больше шести часов. Подойдя ближе, отодвинул висевшие жалюзи.

За окном белела покрытая чистым снегом взлетная полоса. Оказывается, пока они сидели в душном помещении, на улице прошел снег. «Все совпадает, — подумал Алик, — белый — цвет траура», — хотя за годы жизни на Севере он и привык воспринимать пушистый снег как знак зимней идиллии.

Гул самолета, заходившего на посадку, нарастал. Алик слышал его все более явственно и все более точно понимал, что на поле происходит нечто нештатное. На тренированному на подобные сцены и ситуации взгляду открывались слишком активные передвижения по полю машин защитного цвета.

Неожиданно в поле его зрения попало несколько человек в камуфляже. Кто-то кричал в рацию, отдавая приказ. Алик опустил руку, и перед ним закачались полоски жалюзи. Казалось, что человек смотрит за его движениями.

Когда полоски остановились, Алик поднял голову и теперь уже внимательно огляделся. Люди вокруг не чувствовали нараставшего беспокойства. Все слишком устали, и даже приближающийся шум двигателей самолета их не тревожил.

Капитан подошел к стеклянной двери и прислонился к ней лбом. Суэта на поле прекратилась, но машин стало заметно больше. Заметно, по крайней мере, для капитана Гаджиева. Значит, его предположения действительно подтверждались.

Чуть поодаль ГАЗ-66 выехал на поле так плавно, словно катился на санях. Только шум старенького автомобильного двигателя почти полностью перекрыл гул самолета. Задний борт кузова с треском опрокинулся вниз, из-под тента показались молоденькие лица солдат в серой милицейской форме, в шапках и с автоматами в руках.

Выскочивший из кабины офицер указал направление, в котором побежали солдаты, чтобы там, под стеной здания аэропорта, занять оцепление.

Гаджиев потянул на себя дверь, но с другой стороны на ручках висела общая перекладина, которая не давала открыть двери изнутри.

Быстрым движением, Алик достал из кармана ключи, выбрал самый длинный из них и твердой рукой приподнял и сбросил планку с одной ручки.

Выходя в тамбур, Алик успел поймать на себе внимательный взгляд той самой женщины, разговор с которой у них так и не состоялся. С видимым недоверием она следила за действиями своего бывшего соседа.

Но Гаджиев не думал о ней. Теперь дорогу на взлетное поле преграждали еще одни двери. Открыть их, как первые, был невозможно. На ручках висел металлический провод, стянутый стальным замком. Но отсюда, из тамбура, уже можно было постараться достучаться, докричаться до тех, кто был на поле. Так он и сделал. Несколько раз стукнул по двери, чтобы привлечь внимание того самого лейтенанта, который командовал солдатами-срочниками.

Когда тот услышал, что его зовут, он с недоверием оглянулся и увидел в дверях выхода на посадку незнакомого человека, который что-то пытался сказать из-за немого стекла. Лейтенант недоверчиво сделал несколько шагов вперед и остановился, незаметно поправив кобуру.

Гаджиев увидел этот жест и приложил к стеклу свое удостоверение офицера МВД, которое переложил в боковой карман сразу, когда только принялся вскрывать стеклянные двери. Подойдя ближе, лейтенант пристально посмотрел в восточное лицо Гаджиева, а после посмотрел на раскрытые документы. Выяснив в удостоверении его звание, лейтенант даже отдал честь, хотя офицер из Мурманска был одет не по форме — в черные пиджак, брюки и темную дубленку.

О том, что среди пассажиров неудачного рейса есть офицер-дагестанец, лейтенант сразу же передал по рации. Спустя несколько минут в зал спустился сотрудник аэропорта. Его сопровождал человек в камуфляже, но без нашивок. Он быстро проверил документы Гаджиева и без лишних слов махнул рукой, чтобы тот шел за ним.

Они поднимались вверх по длинным коридорам типового советского аэропорта не больше трех минут. За всю дорогу человек в камуфляже не произнес ни одного слова. Гаджиев тоже молчал.

По узкой винтовой лестнице они поднялись туда, где, по всем приблизительным представлениям капитана милиции, должен был находиться центр управления полетами. Перед дверью с табличкой «ЦПУ» стоял милиционер с автоматом, но человека в камуфляже внутрь пустили без единого вопроса. Следом за ним вошел капитан.

После зала ожидания Гаджиеву показалось, что в ЦПУ царит полумрак. Зал десять на двадцать метров неярко освещали тусклые верхние лампы еще советского образца, да мерцали мониторы диспетчеров. По разноцветью камуфлированной формы, которую носили собравшиеся здесь люди, и нашивкам на ней Алик Гаджиев еще раз понял: произошло что-то серьезное. Иначе этих людей здесь бы не было.

Он на секунду замешкался у входа, но тут же догнал своего провожатого. А тот сразу подошел к главному планшету и протянул одному из стоявших там людей служебное удостоверение Гаджиева. Человек взял документ, внимательно прочитал и повертел его в руках. Потом повернулся к капитану и протянул удостоверение:

— Здравствуйте!

На утепленном бушлате произнесшего этого приветствие не было никаких знаков отличия, но Гаджиев ответил ему как старшему по званию:

— Здравия желаю! — и они внимательно посмотрели друг другу в глаза.

— Александр Петрович... — человека в бушлате позвал кто-то из летчиков. — Александр Петрович, пора сажать.

Человек, которого звали Александром Петровичем, хмуро кивнул Гаджиеву и повернулся к заговорившему с ним летчику.

— Сколько у него осталось топлива?

— Минимум. Должен был все сжечь...

Наклонившись над столом, Александр Петрович еще раз внимательно осмотрел план аэропорта, перепроверяя сам себя. В таких ситуациях он понимал, что медлить нельзя, но торопливость равняется смерти. Но все ли им удалось учесть — на это сто-процентного ответа он не знал.

— Все на местах? — не обращая ни к кому конкретно, тихо произнес Александр Петрович.

— Так точно, товарищ генерал, — ответил ему кто-то из-за спины.

— Вопросы есть?

На несколько секунд в зале повисла тишина. Слышался только шум вентиляторов и короткие переговоры диспетчеров, которые продолжали исполнять свои служебные обязанности.

Гаджиев немного помедлил и сделал шаг вперед:

— Разрешите, товарищ генерал?

Александр Петрович выпрямился и еще раз внимательно посмотрел на капитана.

— Разрешите войти в курс дел, — пояснил капитан.

Генерал едва повернулся к тому, кто провожал Гаджиева в ЦПУ, и глазам дал понять, чтобы тот объяснил ситуацию.

Когда шасси ТУ-154 коснулись взлетной полосы, Гаджиев уже знал, что трое солдат-срочников из NN взяли в заложники восемьдесят шесть человек — школьников и трех учительниц. Прикрываясь ими, они выехали на аэродром, сели в подготовленный для рейса на Большую землю самолет и поднялись в небо. Солдаты угрожали автоматом, который прихватили из караульного помещения. Как минимум, у них был один рожок. Тридцать пуль, несущих смерть. А если рожок не один, то и больше... Все солдаты были из Дагестана.

Гаджиев не прерывал скупой рассказ своего провожатого. Когда тот закончил, переспросил:

— Жертвы есть?

— Пока нет.

— Чего хотят?

— Требуют лететь к себе. Домой.

— Это все?

— Да.

— А я только что оттуда, — Гаджиев повернулся к стеклу и произнес отстраненным голосом. — Хоронил отца. Сейчас ждал рейса на Север...

К самолету трап подали сразу после того, как остановились двигатели, но бортовую дверь до сих пор не открыли. Минуты тянулись бесконечно медленно, прежде чем командир корабля вышел на связь с ЦПУ.

До Гаджиева долетали лишь обрывки переговоров: жертв нет, солдаты в салоне, на контакт не идут, — а сам тем временем вглядывался, как на отдаленных подступах, вокруг самолета стягивалось кольцо.

Переговоры продолжались почти два часа.

По большому счету, их даже нельзя было назвать переговорами. На контакт солдаты так и не пошли, ничего обсуждать не хотели. Лишь требовали дозаправить самолет и продолжить полет.

Несколько раз генерал предлагал привезти теплую пищу. Предлагал выпустить тех, кому плохо. Предлагал медицинскую помощь. Но солдаты, словно волчата, забились в угол и даже не всегда подходили к рации. Командир предположил, что, как минимум, двое из них приняли спиртное, третий — нет. Он держался чуть в стороне. И все больше молчал, но палец всегда держал на спусковом крючке.

Спустя еще час переговоры окончательно зашли в тупик. Все понимали, что в любой момент у кого-то из них могут попросту сдать нервы. Час неминуемой развязки приближался.

Гаджиев, до этой минуты стоявший почти в углу диспетчерской, расправил плечи и несколько раз наклонил голову вперед-назад. Сопровождавший, который не уходил от капитана ни на минуту, чуть искоса посмотрел на него и тоже невольно расправил затекший позвоночник.

Почувствовав немой вопрос, Гаджиев пояснил своему сопровождающему:

— Хочу поговорить с генералом.

У генерала болели глаза. Он не спал второй день. Сразу после того, как ему сообщили об инциденте, он приехал в аэропорт, где была запланирована экстренная посадка самолета. Он понимал, что к штурму сейчас все готово, что нельзя терять драгоценное время, но все же медлил. Когда к нему подошел Гаджиев, Александр Петрович уже сжал в руке рацию.

— Товарищ генерал, разрешите?

— Я вас слушаю... — в голосе генерала чувствовались нотки раздражения. Накопившаяся усталость все-таки давала о себе знать.

— Разрешите, товарищ генерал, мне к ним сходить. Все-таки земляки...

— Думаете, получится?..

— Попробовать стоит.

Генерал помолчал, потом произнес

— Что вам для этого нужно?

— Ничего, — голос Гаджиева звучал твердо и уверенно.

— Хорошо, у вас полтора часа.

Гаджиев ступил на взлетную полосу сразу после того, как диспетчер объявил, что к самолету идет переговорщик и что он безоружен.

На улице по-прежнему шел снег, значит, было не так уж холодно. Градуса четыре, решил Гаджиев.

Он шел по чистому снежному полю, укрытому чистым снегом, и Гаджиеву нравилось это. О том, что в любой момент даже случайный выстрел может прекратить

его жизнь, он не думал. Зачем переживать понапрасну, говорил он сам себе, и продолжал движение. В руке у него был громкоговоритель.

Капитан остановился в десяти метрах от трапа самолета и поднял руки, давая понять, что в них, кроме громкоговорителя, ничего нет. Затем поднес хитроумное устройство к лицу, и произнес первые слова.

Он говорил на своем родном диалекте.

Не дожидаясь ответа, капитан опустил руку и направился к трапу. Выждав минуту у нижней ступеньки, он начал подниматься вверх. Первая ступенька, вторая, третья...

У закрытой бортовой двери он простоял не больше минуты — дверь приоткрылась на небольшую щель, в которой мелькнуло мальчишеское лицо, одновременно жесткое и испуганное.

Парень заговорил по-русски:

— Покажи руки, — убедившись, что они пусты, он приоткрыл дверь шире — Заходи... Но помни — ты всегда под прицелом.

После мороза в салоне было тепло. Но Гаджиев поежился, чтобы сбросить невольный озноб. Перед ним стоял солдат в зеленой шинели. Даже не солдат — подросток. Надменным взглядом он смерил пришедшего. Но Гаджиев взгляда не отвел. Тут же из салона появился еще один парень, повыше и покрепче этого.

За занавеской мелькнуло лицо девушки. Увидев пришедшего человека, она заплакала. Но занавеску тут же задернула чья-то рука.

Гаджиев повернулся к старшему:

— Надо переговорить.

Они сели напротив друг друга.

Гаджиев расстегнул дубленку и чуть наклонился вперед. Его собеседник откинулся в кресле и положил автомат на колени.

Они помолчали минуту. Потом Гаджиев поднял взгляд на выжидающе смотрящего собеседника.

— Почему ты ответил по-русски?

— Я не все понимаю на родном...

Гаджиев кивнул.

Они еще помолчали, словно не знали, о чем говорить. Но капитан знал, что сейчас лучше не торопиться.

— Я хочу достать фотографию, — Гаджиев смотрел в лицо парню. — Из внутреннего кармана.

— Доставай, только так, чтобы я видел.

Капитан отвернул полу дубленки, показывая свои действия. Оттуда, из внутреннего кармана достал фотографию своего отца.

— Это мой отец. Я похоронил его вчера... — Гаджиев долго вглядывался в фотографию, словно забыл о собеседнике. Минуты, казалось, вмещали в себя часы. — Я похоронил его вчера. А перед этим не видел три года... Не успевал. То одно, то другое, то служба, то развод... И вот опоздал.

Он посмотрел на парня. Тот не знал, как реагировать.

— Я приехал, а теперь о чем-либо говорить поздно. Ушло время, и все, его не вернешь... Что сделано, то сделано... Сначала я места себе не находил, на стену хотел лезть. Но ведь такие вещи никому лучше не показывать, тем более, когда ничего изменить не можешь.

Парень прервал его:

— Зачем ты это мне говоришь?

— Я не знаю, почему ты здесь, но положение у тебя очень скверное, — он откашлялся и добавил твердо. — Очень.

И улыбнулся.

— Единственная разумная вещь, которую вы сделали, — это то, что никто не погиб. Это снимает очень много проблем. Поверь.

Парень молчал.

— Я тебе не кум и не сват. Я вообще мог не быть здесь...

— Так чего тогда пришел? — неожиданно огрызнулся подросток. Он резко поднял руку и задел автомат. Железо неприятно завизжало о пластик.

Гаджиева это не смутило.

— Мне стало жаль тебя. Тебя, твою жизнь. Мне стало страшно, если в ней будут непоправимые ошибки... Я мог сюда не приходить. Это точно, но я вспомнил слова отца, которые он произнес давным-давно, когда я первый раз уезжал на Север. Он сказал:

«Единственное, о чем я прошу тебя — никогда не делай того, за что тебе будет стыдно перед отцом. Никогда. Об этом меня просил мой отец, твой дед. Теперь прошу я». И сегодня я опять вспомнил эти слова. Вспомнил, и не мог не прийти... Ты мне годишься в сыны, и я не хочу, чтобы через много лет тебе было стыдно за то, что ты сделал... Ты знаешь, смелость — это когда становится стыдно за то, что ты можешь не сделать. Когда может быть стыдно перед отцом, матерью, близкими. Но прежде всего перед отцом. Поверь мне.

— А что нам теперь делать?

— Самое достойное — сдать оружие и признать ошибку. Для мужчины это тоже важный выход.

Гаджиев встал. С высоты фигура парня казалась перетянутой ремнями и как-то по-особому нескладной.

— У тебя один шанс. Встать сейчас вместе со мной и помочь освободить детей.

Капитан мог добавить, «или сделаю это сам», но удержался. Он ждал, что ответит солдат. Парень снял руки с автомата и безвольно свесил кисти с колен.

Гаджиев взял автомат и дотронулся свободной рукой до плеча парня:

— Встань, мне нужна твоя помощь.

Детей освободили без единого выстрела. Капитану и его помощнику удалось скрутить двоих пьяных срочников прямо в салоне. Ничего предпринять они не успели.

Детей быстро вывели из самолета. Они были испуганы, но не плакали. К ним тут же подошли врачи.

Уже после освобождения у женщин-заложниц был нервный срыв.

Гаджиев вышел из самолета последним. Когда спустя полчаса он вновь шел по вокзалу, его опять увидела женщина из зала ожидания. Она решительно подошла к капитану:

— Вы можете объяснить, что здесь происходит?

Он только отрицательно помотал головой в ответ.

Женщине показалось, что ее собеседник просто не хочет с ней говорить. А еще, что он неожиданно постарел лет на десять. ■■■

Беседа птиц



СТИХОТВОРЕНИЯ (на татарском)

Алия Каримова*

* * *

Бйткџн шагыйрь:
 «Син ызеџџ — патша.
 Патша булсаџ,
 ялгыз гына яшџ».
 Сызлџр белџн
 уйнаучы белми:
 сљюче бар,
 аџлаучы булмый.
 Ул ыз-ызен
 тљннџр йоклатмыйча,
 бар дљньяныџ
 кљен, серен ача.
 Шагыйрь — бала,
 шагыйрь — йљз яшьлек карт.
 Бай галџмнџр кебек,
 шагыйрь юмарт.
 Юк, сандугач тњгел,
 былбыл тњгел,
 болыт кебек
 сызлџр булып тњгел!
 Сызлџр белџн,
 лџйсџн яџгыр белџн..
 Син, сихерлџп,
 аласу таџга џйлџн.
 Бљтен нџрсџ булып
 якты яшџ —
 шулай нџџрсеџ
 кыр-тормыш аша.

* Алия Каримова. Родилась в г. Кызыл-Кия Ошской области. Живет в Казани. По-русски печатается как Алёна Каримова. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Октябрь», «Юность», «День и Ночь» (Красноярск), «Луч» (Ижевск) и др. Постоянный автор казанских журналов «Идель» и «Казань». Автор сборника стихотворений «Другое платье», за который в марте 2007 года получила Казанскую литературную премию имени Горького. Была участницей Фестиваля современной поэзии памяти Бориса Чичибабина (Харьков, 2004), нескольких Форумов молодых писателей России в Липках (по результатам 5-го форума стала стипендиаткой министерства культуры РФ), 41-го Пушкинского праздника (Пушкинские горы, 2007) и т.д. Лауреат Первого Форума молодых писателей Поволжья (Саранск, 2006). Стипендиатка Фонда Сажиды Сулеймановой (Альметьевск). В настоящее время — слушательница Высших литературных курсов Литературного института имени Горького (Москва).

* * *

Яшел яз килде кабат бу дъньяга.
Юл чатында бер ут яна: кызыл-кызыл...
Съйгънем, ышаныгыз съзлъремъ,
без къргън кайгы — кыска, гомер — озын...

Ашыгып, съеп, эзлър, каршы алып,
уъайсызланып сезнеъ яныгызда,
оныгып кирърк съзне, къеп-янып,
бер назлы йортсыз йърърк ята бозда.

Бер кълърм, бер кызарам, бер шаярам...
Киръркми ачарга эч серлърремне!
Ъле жир — нъз урнында, юк яманлык...
Тик ничек тондырым уйларымны?

* * *

Булмый инде,
булмый моны аълап —
нигър безнеъ
хърл шушындый һаман:
читкър китърм дър,
юк синнърн якын,
ърмма рържъ
чага елан сыман...

Синеъ бърлърк булган
ялган къзге —
мин карасам,
ул тик сине генър
кърсъртерър тора...

Уз-үземне
мин югалтам
къшныъ азагына.

* * *

Иске урамнарда
берьялгызым йърдем
өшегән яфраклар өстеннән.
Карчыклардай ят өйлър
миңа бакты,
алдан ук куркып
эле килмәгән къштан.

Алар теләгән
рәхәт тынычлык —
тынычлык түгел ул,
үлемнең бер төсе...
үлемгә
аларны бирмәскә
ымсынып,
мин кайтам
иң озын юл белән
берүзем...

* * *

Салкын кърел —
утсыз туннель...
Акыл-зиен арасында
чыгалмыйча йърри кеше,
тою сърлъртен югалтып...
Балкып янган йърърк —
ерак.
Нърм беркем юк
бу дъньяда,
юл күрсъртеп бирүче юк...

Бу сынауны Ходей белде —
безгә ул мәрхърбәт бирде.

* * *

Карарга — карамаска...
 Югалтканны эзлѣмѣскѣ!
 Карасаѣ, карамасаѣ —
 бер сердѣш тѣ тапмыйсыѣ.
 Якты яр, кара урман —
 алдашу йѣри ѣаман...
 Кертмѣ ѳйгѣ, ишек ачма,
 бѣлѣклѣрен бик тиз алма!

* * *

Кѣе эсселек бал булып саклана
 июль кѣннѣре кѣрѣзлѣрѣндѣ...
 Энѣ карагы буа ѣстеннѣн
 оча...
 Канатлары ялтырый...

Бѣтен тарафта —
 жѣйге иренѣ,
 чирѣмнѣрнеѣ дѣ яшеллеге беткѣн.

Ял...
 без биредѣ ялда —
 шѣнѣр тормышы еракта...
 Бѣген сишѣмбеме, шимбѣме? —
 белмибез...
 без оныттык аны...

* * *

Минем тѣрѣздѣ — нѣумиз кѣренеш:
 Энѣ агач — хѣерче хатын кебек...
 Ул, баланы тирбѣткѣн сыман,
 ѳшегѣн кошны тирбѣтѣ...

Икенчесе — югарыдан моѣаеп кѣзѣтѣ
 кечкенѣ чуар ѣт чапканын...

Ераграк карасаѣ — уйчан саз —
 нѣрсѣ турында гына уйлап бетерми...

Э минем
 бер генѣ уем бар:
 кайчан гына икѣн
 бу жиргѣ кар тѣшѣр?

* * *

Бѣкре кѣпер аша
 барганда,
 маташтым
 акчарлаklarны ашатырга..
 Ипине кулдан алмадылар алар,
 тик кычкырып очтылар —
 аңсыз кошлар...

Кайбер кеше да шулай була —
 кулыѣнны сузсаѣ да,
 сине кѣрми...
 тик
 ѣйбѣтлѣп
 нѣзенекен кычкырып йѣри,
 бѣтен дѣнѣяга нѣпкѣлѣп...

* * *

Син йьрисеһ,
син сайлыьсеһ,
кыскарак юлны эзлисеһ...

Монда юк ул —
ансат юл...
Кьчле бул да,
сабыр бул.

* * *

Китӱм.
Бу кьзгегӱ миннӱн соӱ
карама.
Белмӱсен ул,
ни рӱвешле кӱренербез
бер беребездӱн аерым...
Урамда —
кызу,
бӱркӱ,
тузан...
Кызыл трамвай
юллар чатында
нокта кебек
кӱренӱ...

* * *

Ярлар — кӱпер ӱчен,
елга — кӱймӱ ӱчен...
Бьтен юллар,
бьтен сулар,
кешелӱрне кавыштыра.

Дивар — саклау ӱчен,
ишек — йозак ӱчен...
Кем утыра,
кем кайгыра
тӱрӱзӱ янында?..

Ул урамга чыксын,
нава сулап йьрсен,
тизрӱк эзлӱп тапсын
нз бӱхетен...

Кем галӱмне аӱлап,
нӱм йьрӱкне тыӱлап,
бу дӱньяда
торып маташа —

Ул ирекле булсын,
якты юлга чыксын,
ил-кӱн арасында
яшӱсен.

* * *

Кич килђ,
 су буенда тыныч.
 Шыпыртаап,
 камыш эчендә
 йомшак яңгыр гына
 эзләнә...

Ир кеше —
 киберле, житди —
 ярда
 аерылышу турында
 уйлана...

Зур кояш,
 хушлашып, кызарып,
 кечкенә кыя алдында
 тезләнә...

* * *

Һәрбер кыңне
 без тәржемә ясыбыз:
 кыңһел теленнән,
 йырђк теленнән,
 акыл теленнән...

Һәрбер кыңне
 яһа юлны эзлибез —
 ят кешегђ,
 ят йырђккђ,
 ят кыңһелгђ...

Дөрес буламы ул,
 хата буламы —
 барыбер кирәк
 бу кыңперне төзергә. ==

Чудеса стран



РОССИЯ, ВОСТОК И ЗАПАД ГЛАЗАМИ «СИГМЫ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)* *Борис Сыромятников***

Часть II

Предисловие

В этой, второй публикации серии приведены еще три очерка С.Н. Сыромятникова из газеты «Новое Время», объединенные общим названием «Поездка в Кувэйт». Они были опубликованы в конце сентября 1901 года, через полгода после первого («Британская любознательность»). Все вместе эти очерки (как и последний, который будет приведен в третьей публикации настоящей серии, — «Шейх Хазал»), а также их названия не раскрывают действительных целей, задач и обстоятельств работы экспедиции в Залив. Определенную ясность в этот вопрос вносит секретный дневник («Записная книга»), который Сыромятников вел во время путешествия. Чтобы часто не «прерывать» тексты приводимых здесь очерков выдержками из этого дневника, следует немного сказать о его содержании.

О том, что экспедиция готовилась очень тщательно, говорят записи в дневнике, которые Сергей Николаевич начал делать еще в России.

Если перечислить «пункты», где автор делал записи между 23 апреля и 12 октября 1900 года, то маршрут экспедиции будет выглядеть примерно так:

«С-Петербург — Москва — Севастополь — Ай-Тодор — Одесса — Константинополь — Дарданеллы — Смирна¹ — Пирей² — Константинополь — Александрия — Красное море — Аден — Индийский океан — Бомбей — Карачи — Арабское море — Москат — Диреак — Бендер-Аббас — Лингэ — Бахрена — Бушир — Персидский залив — Арабское море³ — Бассора⁴ — (Тигр) — Багдад — (Евфрат) — Кут — Амара — Fortress de Saleh — Goorna — Basrah — Тигр — Фао — Кувэйт — Фао — Басра — Мохамерра — Феличе — Бушир — Баррена — Bender-Abbas — Лингэ — Бендер-Аббас — Москат — Ка-

* Продолжение. Начало см.: Четки. 2009. № 1 (3). С. 91–106.

** Борис Сыромятников (р. 1945). В 1969 году окончил электрофизический факультет ЛЭТИ. Работает в области испытаний электрооборудования высоким напряжением. Опубликовано более 40 работ по специальности. Последние 10 лет увлечен историей России времен Русско-японской войны. Занимается воссозданием истории жизни и деятельности на службе России своего двоюродного деда, публициста, востоковеда и переводчика Сергея Николаевича Сыромятникова.

¹ Смирна — древнегреческое название г. Измир, расположенного на побережье Измирского залива Эгейского моря.

² Пирей — торговая и военная гавань в заливе Сароникос Эгейского моря, опорный пункт Древних Афин. В настоящее время — главный порт Греции.

³ Ныне Аравийское море.

⁴ То же, что Басра, — город на правом берегу р. Шатт-эль-Араб, в 121 км от ее устья в Персидском заливе.

рачи — Бомбей — Аден — Суэц — Порт-Саид — Смирна — Константинополь — Одесса — Ялта — Ай-Тодор — (Москва, С-Петербург)».

Примечательны записи, сделанные до и после экспедиции, в «Ай-Тодоре», имени великого князя Александра Михайловича. В начале маршрута члены экспедиции получили там последние инструкции и установили постоянную связь с Александром Егоровичем Конкевичем, «правой рукой» великого князя. Именно ему, в прошлом боевому офицеру флота⁵, было поручено оперативное руководство экспедицией. И именно ему слал с маршрута свои многочисленные письма, телеграммы (часто — шифрованные), «пакеты», «отчеты» и «донесения» (!) начальник экспедиции Сергей Николаевич Сыромятников...

О тщательности проработки маршрута говорит и тот факт, что в Персидский залив «путешественники» прибыли не «прямо» из России, а с противоположной стороны — из Индии. В Бомбее они устанавливали контакты с русскими и французскими дипломатическими представителями, заручались необходимыми рекомендациями, пополняли медицинское и боевое (оружие) обеспечение предстоящего «путешествия». И даже нанимали платных агентов из числа иностранцев, которые должны были «работать» в Заливе и после завершения их «путешествия».

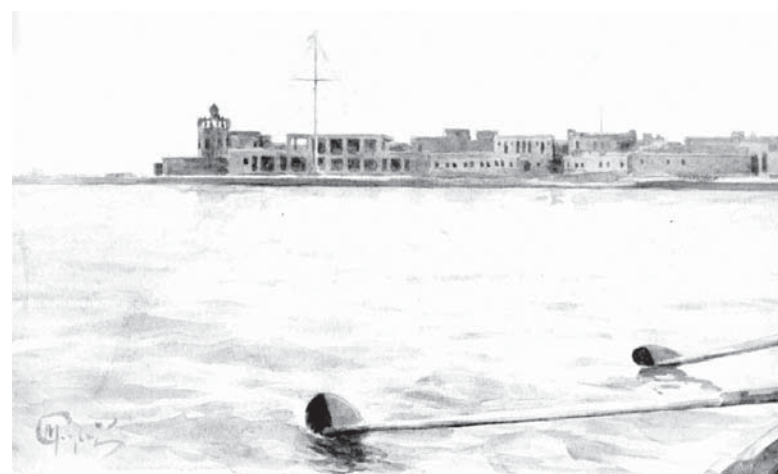
Ежедневные записи в дневнике содержат подробную информацию о «суточных переходах» морем с указанием точных координат, температуры и давления, указания на особенности плавания в прибрежных водах Залива, особенности и данных оборонительных сооружений и путей сообщения, об угольных бункеровочных станциях и портах... И, что особенно интересно, в свой дневник С.Н. Сыромятников занес довольно подробные заметки о тех негласных дипломатических переговорах, которые он вел в Заливе.

Но, конечно же, о таких (и многих им подобных) «подробностях» в очерках «Нового Времени» о «Поездке в Ковэйт» С.Н. Сыромятников написать не имел права...

Поездка в Ковэйт (I) [«Новое Время», 25 сентября 1901 г., № 9181, с. 3.]

«**П**рошел всего только год, что я гостил у ковэйтского шейха Мубарека-ибн-Сабаха, тогда известного лишь по приему, оказанному им нашему миру Европы. В декабре прошлого года телеграф сообщал, что он счастливо воевал с султаном Неджда ибн-Рашидом и взял его столицу Хаиль, потом, разбитый ибн-Рашидом, бежал в Ковэйт, считался одно время убитым и наконец теперь, в союзе с англичанами, отстаивает свою независимость от Турции. Его дружба с Англией объясняется, по-моему, только тем, что в водах Персидского залива в такое серьезное время, как это, нет иных военных судов, кроме английских, что прекрасный опыт посылки русских военных судов в Персидский залив не повторяется с прошлого года. Иначе этот старый арабский дипломат не был бы вынужден идти рука об руку с теми, кто всего опаснее для его торговой самостоятельности. Шейх Мубарек не только полководец и судья своего племени: он главный судовладелец и оптовый торговец города, который стоит на самой лучшей бухте Персидского залива.

⁵ Один из организаторов и участник минных атак на турецкие корабли на Дунае во время Русско-турецкой войны. После образования независимой Болгарии при помощи России была создана небольшая болгарская флотилия; ядром личного и командного ее состава стали русские моряки, а командующим — капитан-лейтенант А.Е. Конкевич.



(Из иллюстраций к неопубликованному изданию «Очерков Персидского залива»)

Это было вечером 29 июля прошлого года, когда я из камышей Фао, на устье Шат-эль-Араба, пробирался на углу белламе⁶ к арабской барке «Мселинэ» («Утеха»), которая должна была отвезти меня в Ковэйт.

Барка эта имела палубу только на корме. Между ее шершавыми ребрами и по корявому килю бродили стада мух и ос, лакомившихся остатками фиников. Матросы грузили большие корзины с желтыми круглыми еще неспелыми плодами. Ибрагим-эбен-Санет, черный кривой капитан, покрикивал на матросов гортанными звуками. Для меня постлали ковер на корме. Переводчик и повар уставляли багаж. Выпив на дорогу чашечку черного кофе со мной и с провожавшими меня друзьями и помощии им без трапа спуститься на ялик, капитан приказал поднимать якорь, и, уносимые течением, пока матросы ставили огромный латинский парус, мы медленно поплыли по широкой реке, казавшейся озером между далекими, низкими берегами, из зеленой равнины которых там и сям выступали букетики пальм.

Солнце заходило красным шаром в низкий берег, заливая запад широкими полосами пурпура. На этом пурпурном фоне резко выступали из зеркальной воды высокие водяные птицы, да кое-где вырезывался парус. Потом наступила сказочная сонная мгла, мгла болотистых морских заливов. Тонким пластом лежит там морская вода, перерезанная песчаными отмелями. Ее молочное дыхание переходит незаметно в облака. И в этой дымке неба и моря носятся сны и сказки, те сны, которые рассказывал нам в детстве устами Шахерезады арабский мореход Синдбад.

Наш огромный парус чуть надувался прохладным ровным ветерком и я, лежа на ковре, смотрел, как на небе выступили крупные южные звезды. А капитан рассказывал мне, как он изучал движение 32 звезд, чтобы вести свой корабль, как он ходил на Небарский берег Индии за лесом и пряностями и какие плохие порядки у англичан: в каждом порту берут деньги с арабского судна. Взяли бы в одном первом порту, а то совсем разорительно. Видно, что англичане скуные и злые люди... А на баке матросы по очереди творили намаз.

⁶ Беллам — пассажирская лодка с небольшой осадкой, напоминает гондолу. Ею управляют два человека либо парными веслами, либо отталкиваясь легкими бамбуковыми шестами.

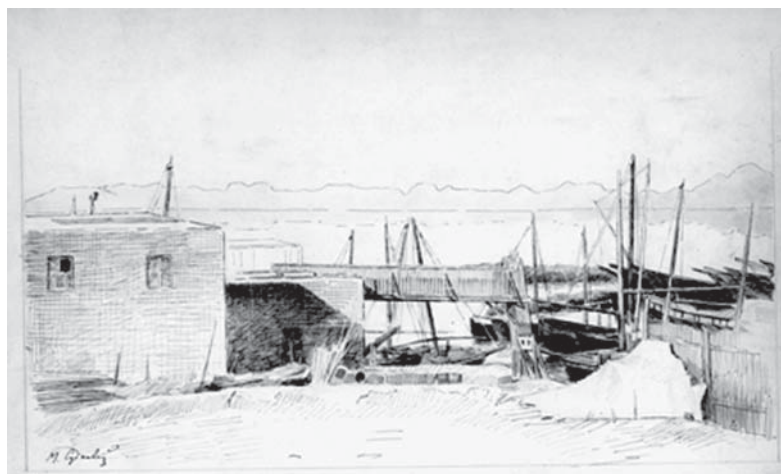
Я проснулся с первыми лучами солнца, несмотря на то, что заботливый капитан приказал натянуть тент над моей головой. В тех странах организм инстинктивно боится солнца, которое может легко убить спящего. И те же тяжелые сны, которые давят вас при замерзании на севере, предупреждают на юге приход убийственного солнца. Я не слышал, чтобы араб произнес слово «шэмэс» (солнце) просто, как всякое другое. Он произносит его с тем трепетным присвистыванием, с которым русский чиновник произносит «ваше превосходительство».

Справа виднелись туманные очертания острова Бубийана, слева — редкие пальмы Феличе, а на горизонте, прямо перед нами, какие-то серые кубики на пригорке. Это и был Эль-Ковэйт, или Грэн.

Говорят, что до 1716 года Ковэйт принадлежал Персии, как, впрочем, показываает и самое его название. “Кут” значит по-персидски “город” в древнем русском смысле, т.е. крепость. Я думаю, что слово это одного корня со словами “кутать”, “закута”, южно-русский “кут”, так как персидский и русский языки происходят от одного арийского корня. От персидского “кут” арабы сделали уменьшительное “ковэйт” — городок. Что касается другого названия города, “Грэн”, то оно происходит от арабского слова “гэрн”, что значит “рог” или “отрог”. Действительно Ковэйт и его окрестности расположены на отрогах холмов, идущих вдоль берега залива.

Население Ковэйта принадлежит к арабскому племени Уттуб, переселившемуся сюда из Зобары, что на арабском берегу залива, против жемчужных островов Бахрейна. Шейх Мубарек сказал мне, что он происходит из славного племени Бен-Анизэ, из семьи бени-Этбэ с бахрейнского побережья. Он — шестой шейх Ковэйта со времени занятия его арабами. Ему теперь 57 лет. Все предки его отличались долголетием.

Медленно мы входили в Ковэйтский залив, и когда вошли в него, ветер упал и до четырех часов мы стояли в виду города, растянувшегося длинной каменной серой грядой, без единого дерева, без единого зеленого пятна. Только при входе в залив, на мысе Рас-эль-Аюзэ, виднелось развесистое дерево, да к западу за городом, в углу залива, торчало несколько пальм. А на противоположном, северном берегу залива виднелись красноватые пустынные холмы, между которыми расположилась деревня Кадмэ, которую немцы избрали выходным пунктом Багдадской железной дороги.



(Из иллюстраций к неопубликованному изданию «Очерков Персидского залива»)

Наконец в четыре часа дня, после пяти часов мучительной жары на водяном зеркале, отражавшем до боли в глазах лучи солнца, жары, которая под слабым тентом доводила до отчаяния, мы подошли с приливной волной, покрывшей водою широкую косу отмелей, к каменным докам берега, в которых стояли арабские корабли и барки. На расстоянии сажен пятидесяти от берега в Ковэйте сделаны молы из дикого камня, с узкими входами с моря. В них во время прилива входят корабли, которые после спада воды лежат на сухом песке.

Младший сын шейха вышел со своими людьми меня встретить. От барки до берега было еще сажен двадцать. Их я проехал на плечах двух дюжих арабов и уже на берегу обменялся приветствиями с молодым шейхом, который сказал мне, что его отец в отсутствии, а старший брат ждет меня во дворце.

Мы шли между стенами домов и доками, в которых высились тысячетонные корабли с высокими резными кормами, как у древних каравелл Колумба. И плотники, снастившие корабли, и купцы, ссыпавшие в кучу пшеницу и рис, мальчишки, возвращавшиеся с купания, женщины под черными покрывалами, делавшими их, под этим солнцем, какими-то сумрачными выходами из тьмы, с любопытством осматривали неверного в огромной грибовидной шляпе, который тяжело шагал по песку рядом с тонким, стройным, загорелым до черноты сыном шейха.

Между рядами вооруженной саблями стражи мы вошли в кованые ворота дворца, поднялись во второй этаж, и на широкой террасе, где происходит собрание жителей под председательством шейха, меня встретил толстый и молчаливый Джабер, старший сын шейха. Когда мы сидели рядом с ним на креслах, поставленных рядом, он медленно, с усилием, боясь сказать что-нибудь лишнее, спрашивал меня о моем путешествии и извинялся за отсутствие отца, который должен был приехать на другой день утром. Потом он повел меня наверх, на третью террасу дворца, где для меня были приготовлены две комнаты, убранные по-европейски. Когда шейх оставил меня, я вышел на террасу. С нее открывался чудный вид на залив, на противоположный берег, на длинные ряды кораблей, лежавших в доках. С южной стороны терраса примыкала к стене с узкими окнами, закрытыми железными решетками. Из-за решеток смотрели на меня десятки блестящих женских глаз.

Высокий слуга-суданец повел меня по широким крышам и по узеньким переходам и лесенкам в каморку над конюшнями, в которой я мог совершить свои омовения. Снизу, с четырехугольного двора, на котором столяр-индус строил огромные резные двери, на меня смотрели арабы всех племен, населяющих Аравийский полуостров. Тут были высокие молодцы свиты шейха с распушенными кудрями и великолепными кривыми москатскими кинжалами в серебряных филиграновых ножнах. Тут были библейские старцы с седыми волосами, выбивавшимися из-под пестрых платков, стянутых на лбу двумя рядами огаля, толстой веревки из верблюжьего волоса. Они держали в руках маленькие кривые посохи, на которые опираются и которыми погоняют коней арабы. Тут были свирепые бедуины, вооруженные кремневыми ружьями, с рядами мелких косиц, спускающихся на плечи. Проходя по плоской крыше, я чувствовал на себе вопросительные взгляды, выходившие со всех углов. Я чувствовал, что они по моему виду хотят угадать, с добром или злом пришел я к их шейху.

Когда тьма спустилась на залив, слуги принесли на террасу широкий ковер, круглый низенький стол и подушки, а Джабер, старший сын шейха, пришел ко мне объявить, что он будет со мной обедать. Нам подали воды умыть руки, и мы сели на подушки за низенький стол, на который был поставлен огромный круглый железный поднос. По середине подноса высился пилав, гора риса с положенной на него жареной

ногой ягненка. Кругом пилава, на тарелках, стояли соусы из “бания”⁷, длинных овощей, которые растут у нас на Кавказе и которые англичане называют поэтическим именем “дамские пальчики” (lady’s fingers). Между ними стояли тарелки с рубленным мясом, жареными курами, спелыми, полупрозрачными финиками и чашки с “лебе-ном”, кислым кобыльим молоком, которое, разбавленное водою, представляет чудесный прохладительный напиток. Перед каждым из нас лежала черная пшеничная лепешка, которая должна была служить хлебом, тарелкой и салфеткой. Шейх загреб пригоршню рису, придавил ее о край блюда, загреб еще и положил плотный комок его ко мне на лепешку. Потом он оторвал кусок ягненка, положил его туда же и приветливо предложил мне есть. Мы ели молча, руками захватывая соусы сложенными кусками лепешки. Позади нас стояли черные слуги с причудливыми кувшинами и полотенцами. Поодаль сидел мой переводчик. Над нами широким пологом раскинулось темно-синее небо и мигали холодные большие звезды. Мне казалось, что я опять, мальчиком, в темной комнате деревенского дома, перечитываю арабские сказки. А шейх не советовал мне есть больше трех фиников, так как они очень опасны для иностранцев. От спелых фиников, только что сорванных с пальмы, делаются нарывы, известные англичанам под именем date boils.

После обеда на край террасы были поставлены кресла, и молча, куря турецкие папиросы, мы смотрели с шейхом на толпу арабов, сбравшуюся внизу на дурбаре⁸. Кафеджи, позвякивая большим медным кофейником, переходил от группы к группе. Арабы наливали несколько капель черного кофе в чашечку, ополаскивали ее края, нюхали аромат жидкости, как у нас знатоки поступают со старым коньяком, и потом уже пили маленькими глотками. У них считается неприличным просить кофе более трех раз и позволять кафеджи наливать до половины чашки.

Джабер пошел вместо отца председательствовать на дурбаре, а я, утомленный впечатлениями дня, улегся на походную кровать, которую мне поставили на террасе.

С первыми лучами солнца, в сопровождении переводчика, младшего сына шейха и его свиты, я пошел осматривать город, по узким улицам которого, между рядами глинобитных стен с бойницами вместо окон, проходили нагруженные тюками ослы, женщины с корзинами на головах, арабы в коричневых плащах, вооруженные ружьями. Мы пришли на торговую площадь, где длинными рядами лежали верблюды, привезшие шерсть, мерлушку и топливо из Внутренней Аравии. В бесчисленных лавочках огромного рынка я видел горы сухой рыбы, пшеницы, бобов, фиников, кофе, индийские ткани, сахар, русский керосин, сбрую, верблюжьи седла, сандалии, лакомства.

В кофейнях, завернувшись в тонкие плащи, сидели важные арабы. В узком и воюющем мясном рынке кололи баранов и продавали горы теплого мяса. На берегу в амбары разгружали с судов хлеб. Ковэйт сам ничего не производит, он — порт Средней Аравии. От него идут караваны в горные области внутри полуострова, в Неджда, Бургесын, Седэр, Эль-Уошин, Аль-Арэд и в пустыню бедуинов. Из него отправляются арабские суда в Басру, Бушир, на жемчужные ловли Бахрейна, в Индию, в Аден, в порты Красного моря и на восточный берег Африки. С Красного моря, из Джедды и Хоаиды везут туда кофе, из Индии — ткани, рис, сахар, серебро, хлопчатую бумагу, пряности, благоухания; из Басры, этого порта Месопотамии, — пшеницу и финики; с жемчужных островов Бахрейна — жемчуг, туземные шитые русской канителью плащи, финики, рыбу и высоких белых ослов, которыми справедливо славятся эти острова.

⁷ Речь идет о бамии — овощной культуре родом из Африки, имеющей плоды пальцевидной формы.

⁸ Дурбар, или дарбар (*перс.* — аудиенция, зал, царский двор, резиденция монарха) — совет знати при монархе в мусульманских государствах.



(Из иллюстраций к неопубликованному изданию «Очерков Персидского залива»)

Солнце палило даже в крытых рядах ковэйтского рынка. Я смотрел, что бы купить на память. Но кроме громоздких верблюжьих седел с инкрустацией, из которых в Каире делают стулья, грубых сандалий да бедуинских переметных сум из верблюжьего волоса, я не нашел никаких “curios” на ковэйтском базаре.

До свидания с шейхом Мубареком, я сведу в одно данные об этом городе, которые я собрал год тому назад и которые вряд ли изменились за это время, кроме разве уменьшения числа населения города, так как, по слухам, в битве 23 декабря прошлого года между ковэйтцами и арабами Неджда с обеих сторон легло до 5000 человек.

Ковэйт расположен в 50 милях на юг от устья Шат-эль-Араба, в 1100 милях от Карачи, самого северного порта Западной Индии, и в 1500 милях от Бомбея, на южном берегу прекрасной бухты, тянущейся на 20 миль с В[остока] на З[апад] и имеющей десять миль ширины. В большей части бухты глубина достаточна для якорной стоянки морских судов и хороший песчаный грунт. С единственно открытой восточной стороны бухта эта защищена широкой отмелью, которая не позволяет волнам проникать в бухту. Суда с осадкою около 18 ф. могут подходить на три четверти мили к берегу.

Город начинается почти на расстоянии версты к западу от мыса Рас-эль-Аюзе, тянется на две версты вдоль берега и имеет около версты в глубину. Он был прежде окружен низкой стеной, но от нее остались еле заметные следы.

Дома построены из камня и оштукатурены. К городу примыкает с юга предместье из хижин, сплетенных из тростника.

Вдоль берега тянется отмель почти в две версты шириною. Во время отлива часть ее обнажается, во время прилива вода подходит к самым домам. На этой отмели и устроены те молы, числом до 20, о которых я рассказывал раньше.

Город окружен с трех сторон пустынею серого песка с бесчисленными верблюжьими тропами и остатками бедуинских становищ. Кругом города можно всегда найти несколько черных палаток, в которых женщины ткуют ковры или сбивают кумыс,

⁹ Curios (*англ.*) — редкая, антикварная вещь.

а голые ребята валяются вместе с тощими собаками. Стада верблюдов идут к колодцам утром и вечером важною уверенною поступью. По пустыне, поросшей сухим бурьяном, бегают саламандры, пауки да какие-то грызуны вроде маленьких тушканчиков.

Только ранней весной пустыня превращается в степь, полную, по рассказам арабов, чудных душистых цветов. Тогда дует благоухающий ветер из Неджда, из горной, хорошо орошенной середины полуострова, которая отделена от моря, как бы для устрашения смелых путешественников, лентою выжженных, бесплодных холмов в двести верст шириною и которая посылает свои воды в Персидский залив подземными реками, выливающимися на Бахрейнских островах из глубины моря на поверхность столбы пресной воды. Арабы пели мне песни про чудный ветер из Неджда. Этому весеннему ветру поверяют они свои мечты и посылают с ним из пустынного побережья поклоны благословенной родине.

В Ковэйте около 30 000 жителей, живущих в 3000 домов; из них 50 евреев из Бушира, которым шейх построил синагогу и отдает ее в аренду за 20 руб. в год. В городе более 500 лавок, три гостиницы, шесть кофеен, много амбаров, три школы с сотней учеников, четыре мечети. На Востоке нет и не может быть статистики, но о приросте населения можно судить по тому, что каждый год строят до 30 новых домов и открывают до 40 новых лавок.

В этом счастливом городе в мое время не жило ни одного европейца, не было ни одного консула, нельзя было сочинить ни малейшего британского интереса. Шейх запрещал селиться в Ковэйте даже индийским ростовщикам, которые держат в руках своих всю жемчужную торговлю Залива. Я видел там только следующих иностранцев: турецкого карантинного сторожа, исполнившего обязанности согладателя, семь белуджей¹⁰, составлявших охрану шейха, да одного белуджа-оружейника.

Так как ни в самом Ковэйте, ни вокруг его ничего не растет, кроме бурьяна да верблюжьей травы, то его население занимается мореходством, торговлей, ловлей рыбы и жемчуга и в незначительных размерах скотоводством.

В Ковэйте больше арабских судов, чем в любом из других портов Персидского залива. Во время моего пребывания там на ловлю жемчуга ушло около 600 лодок, с экипажем от 15 до 40 человек на каждой. Жемчужная кампания начинается в апреле и продолжается пять месяцев. Каждая лодка зарабатывает в лето от 200 до 400 риалов, т.е. почти столько же рублей. В сентябре, по окончании ловли в Заливе, ковэйтские ловцы жемчуга спускаются на ловлю в Индийский океан к острову Соко-торе¹¹.

На своих барках, от 20 до 300 тонн вместимостью, и на больших кораблях до тысячи тонн ковэйтские арабы занимаются перевозкой товаров между Месопотамией и Индией. На таких барках плавал между Бендер-Аббасом и Индией еще тверской купец Афанасий Никитин в шестидесятых годах пятнадцатого века. Они везут в Индию из Басры и Ковэйта арабских коней, зерно, шерсть, топленое масло, финики. Из Индии возвращаются они с грузами риса, корабельного леса, москательного товара и предметов роскоши. Оттуда привозят они в тихую гавань Ковэйта и политические новости. Мы очень горячо обсуждали с шейхом последствия взятия Претории Робертсом¹², и я убедился, что шейх и его свита имеют довольно верные представления о европейской политике.

¹⁰ Белуджи — ираноязычный народ.

¹¹ Ныне о. Сокотра.

¹² Имеются в виду события Англо-бурской войны, относящиеся к лету 1900 г., когда английские войска под командованием Ф.С. Робертса заняли Преторию, обеспечив перелом в этой войне.

Шейх рассказывал мне, что он может выставить в поле 30 000 всадников, вооруженных ружьями Мартини¹³. Я думаю, что число это надо уменьшить вдвое. Перед дворцом шейха стоят семь негодных пушек времен Альбукерка¹⁴, оставленных португальцами. Жители Ковэйта — сунниты, народ здоровый, храбрый, сплоченный. События последнего времени показали, что они преданы своему шейху, который представляет собой главнокомандующего, судью, сборщика таможенных пошлин, главного судовладельца и оптового торговца Ковэйта. На своих судах ковэйтцы поднимают турецкий флаг.

Когда мы возвратились во дворец с прогулки по городу, на набережную вышла толпа арабов. К берегу подходила белая яхта шейха под красным турецким флагом.

Старший сын шейха, Джабер, поехал на челноке навстречу отцу, чтобы доложить ему скорее о том, как я вел себя и что делал.

Яхта умышленно долго приставала к берегу и толпа умышленно медленно шла к берега во дворец. Шейх, нарочно уехавший на остров Феличе, чтобы не быть принужденным встречать меня, возвратился домой, узнав, что я приехал с письмом от важного турецкого чиновника. Но зато через неделю он дружески провожал меня на свою яхту, которую он дал в мое распоряжение, и называл меня сыном в письме к своему другу. Как это случилось, я расскажу во второй главе.

С.Н. Сыромятников. Лондон. 20 сентября 1901 г.»

Поездка в Ковэйт (II) [«Новое Время», 28 сентября 1901 г., № 9184, с. 3.]

«**О**круженный свитой, медленно, по узкой лестнице, пришел ко мне шейх Мубарек. Это был среднего роста старик с небольшой окладистой бородой и темным, почти коричневым лицом, худым, испещренным морщинами. Его карие глаза смотрели выразительно и задумчиво. Его движения были размеренны и полны величавости. Было что-то грустное в его взгляде.

Он сказал мне, что рад видеть русского, что приход «Тилиака» сильно поднял его значение среди арабов. И мы начали длинный восточный разговор, пересыпанный формулами вежливости и лести».

Здесь стоит привести запись из дневника от 9 августа, проясняющую содержание действительных «любезностей», которые высказал шейх Кувейта Мубарек «журналисту» и «путешественнику» Сергею Николаевичу Сыромятникову:

“9 (22) Августа. Басра. Утром был у *Linch Brot*. Просить денег no *billet credi*. Он ответил, что “*is not authorized*”¹⁵. Обратился к *Giocolas*. Он дал мне под расписку £Т. 1т.

Я составил депешу Конкевичу (:): “*Был Кэуите. Правитель продолжает просить покровительства России*”.

Послал письма Круглову¹⁶ и Тутолке в Дамаск. Депешу как шифрованную не приняла и — ”.

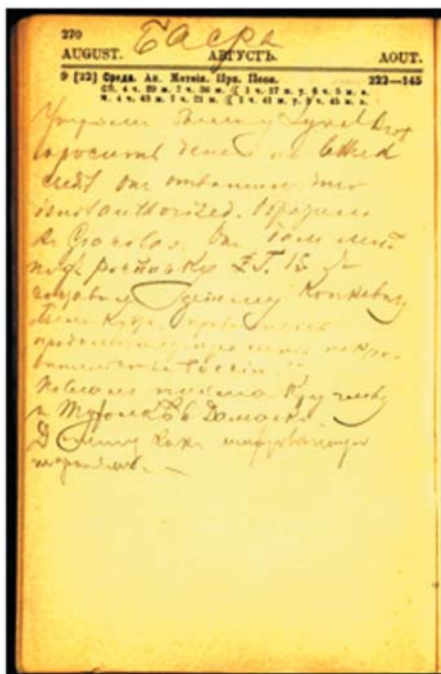
¹³ Речь идет об английских нарезных ружьях системы Генри-Мартини, калибра 4,5 линии, весом 11,25 фунта.

¹⁴ Албукерки, Афонсу д' (1453—1515), прозванный Великим Альбукерком, — португальский мореплаватель и завоеватель, с 1509 г. — вице-король португальских владений в Индии.

¹⁵ Не уполномочен (англ.).

¹⁶ Русский консул в Багдаде.

Тут запись этого дня обрывается. Можно предположить, что совсем не случайно «депеша» (!), и именно эта, с просьбой «правителя» «о покровительстве России» (!) «Куэйт», была или действительно зашифрована, или воспринята на телеграфе как зашифрованная. Возможно, Сергей Николаевич «погорячился». И что могло означать это «и —» в конце записи? Если не «провал», то — серьезную неприятность. Представляется, что ранение Сергея Николаевича в самом конце этой его командировки в Персидский залив может быть связано с историей об этой, «шифрованной депеше». «Конкевичу». О «покровительстве России».



«У шейха Субаха, четвертого ковэйтского шейха, было пять сыновей: Мохаммед, Джеррах, Мубарек, Хмуд и Джабер. После его смерти власть перешла к Мохаммеду. Это был воинственный храбрый князь, расточительный и любимый подданными. Он кормил сотни арабов и пользовался среди них большим влиянием.

Государственное устройство арабских княжеств таково, что не подданные должны кормить князя, а князь должен кормить подданных, если желает, чтобы они служили ему.

Вот почему шейх не может быть бедным, а для того, чтобы иметь деньги, он должен вести торговлю. Так, ковэйтский шейх продает арабам зерно, финики, кофе, покупает у них шерсть, верблюдов, лошадей, ведет торговлю с Турцией, Персией, Индией. На нажитые от торговли и от таможенных сборов деньги он выписывает тайком оружие и раздает его арабам на случай войны. Все отрасли государственного и частного хозяйства сосредоточиваются в руках его. И изучая быт арабских приморских шейхов, поймешь, каким образом Иоанн Калита собирал землю, прикармливая независимых бояр и людей и ссоря их между собою. Шейх несколько раз говорил, что он «собирает» арабов. Кто бы мог подумать, что плав и крепкий черный кофе с кардамоном могут являться государственным цементом?

Итак, старший брат нынешнего шейха Мубарека, Мохаммед, был расточителен, горд и любил из всех братьев только Джерраха, брата одной с ним матери. Мубарек жаловался брату Джаберу на старшего брата: «Он своей расточительностью погубит семью. Он растратит все, что собирали предки». Но шейх Джабер, добрый и нежный араб, как все последние сыновья старых отцов, отклонял признания и намеки Мубарека. Тогда Мубарек обратился к своему сыну, тоже Джаберу, и признался ему, что жизнь стала ему невыносима из-за своеволия князя. «Или убей меня, — говорил он сыну, подавая ему ружье, — или пойдем убьем Мохаммеда и Джерраха». Это было в мае 1896 года, в два часа до восхода солнца. Мубарек и сын его пошли в большой дворец и там отец застрелил шейха, а сын — его брата Джерраха. Вот как шейх Мубарек, который оказывал мне гостеприимство, достиг своей власти.

У убитого шейха Мохаммеда было два сына, которые спаслись от дяди и попали под покровительство Мохаммеда ибн-Рашида, умного и богатого эмира горной страны, лежащей внутри Аравии и называемой Джабэль-Шаммар¹⁷. Мохаммед отнял у детей ваххабитского эмира Фесала ибн-Турки Неджд и сделался правителем Аравии от Сирии до Нефуда, от Ковэйта до Мекки. Он умер 3 декабря 1897 года, завещав власть племяннику своему Абдул-Азис ибн-Рашиду, талантливому, гордому и расточительному юноше. Абдул-Азис принял к сердцу судьбу изгнанных детей убитого ковэйтского шейха и уже в январе 1898 года сделал попытку взять Ковэйт, выгнать оттуда Мубарека и посадить князем старшего из племянников. Он был уже в трех переходах от Ковэйта, когда на его тыл напали бедуины, вероятно поднятые Мубарекком, и ибн-Рашид, заключив соглашение с ковэйтским шейхом, поспешно возвратился в Неджд.

Прошлой осенью ибн-Рашид повторил попытку 1898 года, но обратился сначала против шейха племени мантефиджей Саауди, живущего к северу от Басры, около Зобейра и связанного с ковэйтским шейхом старою и прочною дружбою. В октябре прошлого года ибн-Рашид привел свои войска к Зобейру и распо ... <текст испорчен> ...указанного им срока. Саадуну обратился после этого за помощью к Мубареку, а ибн-Рашид телеграфировал в Константинополь, что воевать против мантефиджей побудили его козни Мубарека и Муксина-паша.

Султан приказал заставить Мубарека распустил войско и вызвать его в Басру для объяснений. Вали¹⁸ лично отправился в Ковэйт просить, чтобы войско ковэйтцов было распушено, и привез Мубарека в Басру. Из Басры шейх телеграфировал султану: «По требованию вашего величества я воздержался от наказания человека, который, называя себя царем Аравии, осмелился напасть на Ковэйт».

Отпущенный из Басры к себе домой, шейх Мубарек известил шейха мантефиджей о прекращении военных действий; когда его уведомили, что ибн-Рашид с войском идет на Ковэйт, Мубарек выступил ему навстречу с 10 000 всадников, вооруженных ружьями Генри-Мартини.

У ибн-Рашида было 20 000 войска, но из них только тысяча всадников вооружена была современным оружием. Противники сошлись 23 декабря 1900 года. Ибн-Рашид, полагаясь на численный перевес своей армии, делал атаку за атакой, но атаки эти были отбиты, и незадолго до восхода солнца арабы ибн-Рашида обратились в бегство, оставив ковэйтцам коней, кобыл, верблюдов, оружие. Мубарек преследовал бегущих до самой столицы Неджда — Хаила и занял его, чтобы впоследствии отдать его

¹⁷ В современном написании *Джебель-Шаммар* — государство, существовавшее с 1830 по 1921 гг., эмират на Аравийском полуострове.

¹⁸ Вали — правитель вилайета, крупной административно-территориальной единицы в странах Среднего и Ближнего Востока.

законному претенденту ибн-Фесалу, потомку ваххабитских эмиров. Разбитый ибн-Рашид обратился с просьбой о помощи к турецкому правительству, угрожая, что если ему не помогут возвратить Хаиль, то он не позволит мусульманским паломникам ездить в Мекку через его владения.

Между тем как арабы Мубарека, занявшие Хаиль, предались неге и отдыху, лазутчики ибн-Рашида донесли ему, что у Мубарека осталось лишь незначительное количество патронов. Тогда ибн-Рашид собрал снова войско. Услышав об этом, Мубарек повел своих арабов обратно в Ковэйт, но на дороге в ущелье он был окружен войсками ибн-Рашида, которые устроили засаду в такой теснине, что винтовки ковэйтцев не могли служить им защитой.

После кровопролитного рукопашного боя арабы Мубарека бежали в разные стороны, оставив ибн-Рашиду все свои припасы. Сражение это произошло в начале марта этого года. Добравшиеся до Басры и Фао ковэйтцы рассказывали, что с их стороны было не менее 5000 убитых. Мубарек же спасся бегством.

Убедившись, что турки поддерживают ибн-Рашида и намереваются занять Ковэйт, Мубарек, как известно, обратился за помощью к Англии, не видя на Заливе других военных судов, кроме английских, и полагая поэтому, что все другие державы слишком слабы, чтобы бороться с англичанами. Уже в отчете за 1897—98 год британский политический резидент в Бушире упоминает, что шейх Мубарек принимал дружески английских офицеров и уверял их, что он достаточно силен, чтобы выдержать нападение противников. В январе 1899 года Ковэйт посетил британский резидент полковник М.И. Меаде и вел переговоры с шейхом о дозволении пароходам Breatish India Steam Navigation Company заходить в Ковэйт. Тогда, вероятно, индийское правительство, которому подчинен британский резидент в Бушире, и сделало шейху существенное предложение о помощи. Я думаю также, что шейх не видал в отношениях России к Заливу ничего серьезного, ничего такого, что могло бы служить опорой самостоятельности его шейхства. Но, тем не менее, он связан с Турцией, кроме исторических суверенных прав Турции на его землю, еще и очень важными экономическими отношениями.

С.Н. Сыромятников».

Поездка в Ковэйт (III) [«Новое Время», 29 сентября 1901 г., № 9185, с. 3.]

«Шейху Мубареку принадлежат значительные финиковые плантации по правому турецкому берегу Шат-эль-Араба, от Абдул-Хасида, что немного ниже Басры, до устья реки, у которого стоит турецкая крепость Фао, и ниже, по лежащим в Заливе островам Бубийану, Феличе и Машану. Плантации эти приносили шейху до 4000 тонн фиников в год, что, считая по 40 рублей за тонну, составляет до 160 000 руб. годового дохода. Сам шейх исчислял гораздо выше доходность своих турецких земель. Он говорил, что плантации приносят ему 600 000 турецких лир в год (5 100 000 руб.) и что он готов продать их за 34 миллиона руб. Я сомневаюсь, чтобы англичане дали ему эту сумму, но полагаю, что они должны были возместить ему некоторую долю убытков, если только турки пожелали наложить руку на земли своего непокорного каймакапа. Шейх Мубарек имеет титул турецкого каймакапа, и его княжество входит в состав Бассорского вилайета.

Для того чтобы понять отношения Ковэйта к Турции, надо возвратиться на тридцать лет назад. Однажды под вечер мы сидели с шейхом в маленькой комнатке с видами на голубое море, и он рассказывал мне следующее:

Фесал ибн-Сеут был повелителем Неджда, Омана, Бахрейна, Моската, эль-Хасэ, Гытара и Гетыфа. У него было четыре сына: Абдалла, Мухаммед, Сеуд и Абдул-рахман. Шейх был мудр и могуществен, но между детьми его происходили ссоры. После смерти Фесала получил власть Абдалла. Сеуд, брат его, бывший с ним в дурных отношениях, захватил эль-Хасэ и Гетыф и начал войну против Абдаллы. В Басре был тогда мутасериф¹⁹, так как она составляла часть Багдадского вилайета, а багдадским валием был знаменитый, впоследствии отравленный Митхад-паша. Абдалла послал своего визиря из Неджда в Багдад просить у Митхада-паши помощи против своего брата Сеуда. Это было в 1871 году.

В то же время несколько судов ковэйтского шейха Мохаммеда, предшественника нынешнего, находились в эль-Хасэ, на западном побережье залива. Сеуд захватил силою эти суда для перевозки своих грузов и приказал избить палками одного из капитанов, который противился захвату. Ковэйтский шейх рассердился, узнав об этом, и написал Сеуду письмо, полное упреков, в котором требовал вознаграждения за пользование судами, пени за побитие капитана и выдачи обидчика, чтобы капитан мог побить его в присутствии своего шейха. «Эти требования справедливы, — писал он. — Если же вы не согласитесь на них, то мы то же сделаем с вами, что вы сделали с нашим капитаном». На письмо это Сеуд прислал наивный ответ, будто бы он не брал судов и не бил капитана. Получив такой ответ, шейх сказал своим людям: «Готовьтесь, ибо я буду воевать и с моря и с суши против Гетыфа».

В это время к шейху пришло письмо от багдадского вали, в котором тот писал: «Солдаты мои идут из Багдада под начальством Магомеда Нефеда-паши-ферика в Хасэ и Гетыф. Я рассчитываю на вашу преданность, что солдаты мои будут у вас. Я их вам вверяю. Приготовьте столько-то судов, столько-то верблюдов и лошадей. Если мы возьмем Хасэ и Гетыф, мы возьмем их через вас и на ваше имя».

Шейх получил это письмо, когда турецкое войско прибыло уже из Багдада в Басру. Он посоветовался с друзьями. Они сказали ему: «Надо идти с турками и Абдаллой и отомстить Сеуду». Шейх нашел такое мнение справедливым и написал в ответ Митхаду-паше: «По вашему приказу, для помощи вам я приготовил все нужное: суда, проводников и вьючных животных». В Ковэйт из Басры пришли два турецких парохода с войсками. К шейху явился начальник отряда Магомеда-паши с майором Реджан-бегом. Они передали шейху письмо от Митхада-паши и сказали: «Мы пришли к вам. Ежели желаете прогнать нас, мы уйдем и последуем вашему желанию».

Шейх собрал 300 судов для перевозки войск и припасов, а сам пошел пустыней во главе 7000 всадников и 12 000 верблюдов. Сеуд был разбит. Шейх привел турецких солдат в шесть дней в эль-Хасэ и взял его столицу. Он оставался в эль-Хасэ одиннадцать месяцев, чтобы успокоить арабов, и потом возвратился в Ковэйт.

Митхад-паша приехал в эль-Хасэ и спросил шейха: «Отчего вы не известили нас о победах и трудах ваших в нашу пользу и отказались от жалованья? Султан и я очень довольны вашими услугами».

Шейх отвечал: «Жалованья от вас не приму. Если вы дадите мне столько-то в месяц, я окажусь вашим чиновником. Я совсем не должен был писать вам о моих победах. Это обязанность ферика — начальника отряда. Писать о своих заслугах считается у арабов хвастовством, а хвастовство постыдно». Митхад-паша был очень доволен этим ответом. Он поехал в Багдад, потом в Константинополь, доложил султану о заслугах шейха и выхлопотал для него фирман²⁰. По фирману султан назначил шейху жалова-

¹⁹ В современном написании *мутассариф* — глава санджака, административной единицы в Османской империи, более мелкой, чем *вилайет*, но более крупной, чем *каза*.

²⁰ Фирман (ферман) (*перс.*) — указ монарха в странах Ближнего и Среднего Востока.

ные — 150 тонн фиников в год, что, считая по 40 руб. за тонну, составляет около 6000 р. в год, которые и выплачивались аккуратно. Но с 1898 года шейх не получал жалованья. Ему объявлено, что оттоманское правительство уменьшило жалованье всем своим чиновникам, а потому уменьшит и ему. Он ответил, что он получает не жалованье, а награду за заслуги, которую уменьшить нельзя. “Если вы уменьшаете сумму, — сказал он бассорскому валию, — тогда мне ничего от вас не нужно”. Вали снял копию с фирмана, послал ее султану с вопросом, что делать.

Я видел копию с этого фирмана, выданного брату шейха Мубарека тридцать лет назад. В нем шейх титуруется “мэшхет иль Ковэйт”, т.е. “ковэйтским шейхством”. Ясно, что турки перестали платить жалованье шейху, когда узнали, что он убит своим братом.

В январе 1900 г в Ковэйте была немецкая миссия, состоявшая из Штеммериха, германского генерального консула в Константинополе, главного инженера Багдадской дороги фон-Каппа и нескольких техников. Комиссия эта просила шейха от имени султана уступить деревню Кадмэ на северном берегу Ковэйтского залива, чтобы вывести туда будущую дорогу. Шейх ответил, что воля султана для него священна, но что он не может уступить этой деревни, так как не в состоянии отвечать за своих арабов. “То, что вы сегодня построите, то они завтра разрушат”, — ответил он немцам. Теперь эту деревню приобрела для Германии Англия.

По довольно неполным сведениям, которые я собрал на месте, в Ковэйт ввозят разного рода товаров на 670 000 рублей в год. Я думаю, что вывоз из него достигает той же цифры, включая сюда вывоз жемчуга на сумму около 200 000 руб. в год. Если англичане будут брать 3 % с ввоза и вывоза, то они получают за охрану Ковэита по крайней мере 67 000 руб. в год, на какую сумму, разумеется, можно держать канонерку на Ковэйтском заливе и даже свезти на берег несколько негодных пушек для устрашения турок.

Для нас вопрос о правах на Персидском заливе разрешается очень просто. Северный берег залива от Фелиадо до Гваттера принадлежит Персии, южный — от Фао до Моската — Турции, если только Турция отказалась от своих прав на Москат. Французское правительство, устройством угольной станции на Москате, показало, что оно не признает над ним английского протектората. Надо надеяться, что и другие державы последуют в этом вопросе за Францией. У Турции нет средств осуществлять права свои на Персидском заливе. Но из этого не следует, чтобы хозяйничанье на нем Англии имело хоть тень законности и могло быть признано другими державами.

Когда я скакал в степи на боевой кобыле шейха, а сопровождавшие меня арабы потрясали своими хлыстами, как копьями, и пели боевые песни, под звуки которых их кони гордо поднимали головы и распускали хвосты свои по ветру, я понял всю свободную прелесть их жизни в этой безводной стране и гордую волю, которую она возвращает в сынах своих. Пусть расцвет арабского творчества прошел невозвратно. Пусть арабские полководцы выродились в междуусобных набегах. Пусть арабские дипломаты занимаются мелкими интригами и предательством. Пустыня покорна только им одним, она оберегает и всегда будет оберегать свободу сынов своих. И я не знаю другого народа, в котором было бы столько своеобразной прелести, как у арабов.

Есть арабская пословица, которая говорит, что араб становится гнусным развратником, как только переселится в город. Но эта пословица верна и не для одних арабов. А степные арабы сохранили лучшие черты кочевых племен с необъятной и поразительной поэзией пустыни, которая служит немым подношением небу, утром и вечером говорящему с человеком своими пурпурными зорями, а ночью посылающему к нему безмолвные речи тысячью звезд.



(Из иллюстраций к неопубликованному изданию «Очерков Персидского залива»)

Недаром в бассейне Персидского залива родилась астрономия и недаром люди полагали рай при слиянии Тигра с Евфратом, где ныне финиковые сады Гурны. Сухой, безоблачный воздух не становится той преградой между человеком и Небом. То, что вечно, не затмевается там преходящим земным. И для путешественника, вкушившего сладость пустыни, ничтожными кажутся временные интриги и раздоры называющего себя цивилизованным человечеством.

С.Н. Сыромятников. ==

Ниша света



К 10-ЛЕТИЮ ЖУРНАЛА «МУСУЛЬМАНЕ»

В 1998 г. в Москве вышел первый номер журнала «Мусульмане». Это был по-настоящему прорыв. «Мусульмане» стал не только первым мусульманским интеллектуальным журналом в новейшей истории России, но первым мусульманским журналом вообще. За короткую историю издания в свет вышло всего 4 номера. Пятый, уже готовый к печати, так и не попал в руки к читателям. С тех пор прошло более десяти лет. В России появилось немало мусульманских изданий. Но ни одно из них, по нашему мнению, так и не смогло подняться до уровня журнала «Мусульмане». С некоторым опозданием мы решили посвятить серию материалов 10-летию журнала «Мусульмане» в качестве дани памяти безвременно ушедшему старшему товарищу. Ниже публикуется статья Галины Хизриевой, которая принимала активное участие в работе над журналом «Мусульмане». Мы также попросили Галину и других членов редакции журнала ответить на наши вопросы. Мнение этих людей, безусловно, заслуживает внимания, поскольку они стояли у истоков мусульманской интеллектуальной журналистики в России.

От редакции

ЖУРНАЛ «МУСУЛЬМАНЕ»: ЧТО ЭТО БЫЛО? Галина Хизриева*

«Если бы он был жив, ему было бы уже 10 лет...» — сокрушалась в телефонную трубку моя подруга, навсегда покинувшая Россию. Она живет в Турции, издает свой небольшой журнал для семейного чтения, который и здесь, на родине, пользуется популярностью.

А говорили мы о журнале «Мусульмане», в редакции которого и познакомилась. Говорили как о погибшем ребенке, подававшем большие надежды. Замечу, что еще десять лет назад региональная разобщенность мусульман была так высока, что, лишь придя в журнал, я впервые получила возможность по-настоящему окунуться в мир российского ислама. Это теперь я знаю о жизни татарских, башкирских, сибирских и уральских мусульман ничуть не меньше, чем о мусульманах Северного Кавказа. Но в то время лишь в журнале «Мусульмане» можно было познакомиться с авторами будущих книг о мусульманах Северного Кавказа и Татарстана, поговорить об исторической роли джаидов, обсудить концепцию евроислама, понять, что стоит за определением «народный ислам», прочитать общественно-политические откровения А.А. Игнатенко, В.А. Малашенко или Л.Р. Сюкияйнена, узнать как трактуют ваххабизм, терроризм и исламизм такие политики, как М.Ш. Шаймиев, Р.Г. Абдулатипов, С.В. Ястржембский, получая информацию из первых рук.

Журнал обращался не только к мнению известных людей и маститых политиков. Я помню, как впервые увидела своих земляков-ботлихцев на фото в журнале «Мусульмане». Вглядываясь в знакомые лица, я ловила себя на мысли, что горжусь тем, что в стране появилось средство массовой информации, в формате которого моим землякам комфортно, и они могут показать себя и в качестве мусульман, и в качестве политической силы, и в качестве граждан своей страны, нисколько не опасаясь быть непонятыми, оболганными или осмеянными.

К моему приходу под глянцевым крылом журнала собралось немало людей, без вклада которых трудно представить себе российскую мусульманскую интеллектуальную элиту сегодня, — Айна Гамзатова, Мурад Заргишиев, Айсе Капаева, Ахмед Ярлыкпиев, Игорь Алексеев, Шамиль Аляутдинов. У одних был к тому времени немалый жизненный, политический, духовный опыт, пережитое смутное время начала 90-х гг., личные, по-настоящему тяжелые потери на духовном фронте мусульман, а у других — опыт интеллектуальной и аналитической деятельности и огромное желание служить российскому исламу.

* Галина Хизриева (р. 1961) — старший преподаватель учебно-научного центра политологии и антропологии современного Востока. Специалист в области истории и этнополитических процессов Северного Кавказа. Научный сотрудник Института культурологии МК РФ. Член Европейской ассоциации социальных антропологов и Американской ассоциации по изучению качества жизни. Имеет множество публикаций в российских аналитических изданиях.

Теперь уже можно сказать, что окончание 90-х гг. ознаменовалось возрождением мусульманской журналистики в России, а в московском журнале «Мусульмане» сложилась сильная творческая команда высокообразованных «соблюдающих» мусульман, которая пусть и проработала совсем недолго, но успела оставить глубокий след в истории российской уммы. Хотя бы тем, что она была первой настоящей профессиональной командой мусульманских интеллектуалов. Отмечу, что многие идеи, проекты и планы, обсуждавшиеся в те годы, до сих пор актуальны и ищут путей реализации.

Спросить бы их сегодня *что* ими тогда двигало? Думаю, что тогда они даже не осознавали всей своей смелости и огромности задачи, которую им пришлось решать, интеллигентно и деликатно выводя в широкое общественное пространство имена востоковедов, мусульманских деятелей всех регионов России, давая оценку крупнейшим российским политикам, исходя из их отношения к исламу, к России,

Десяти лет не хватило самым просвещенным и информированным экспертам, чтобы осознать суть произошедшего с той частью населения России, которая по традиции и убеждениям была и оставалась мусульманской. Находясь в эпицентре событий, очень трудно отделить главное от второстепенного, ибо все кажется важным и первоочередным, а обдуманная стратегия ломается под напором новых неожиданных обстоятельств.

Самому старшему в той команде, кажется, было всего 37 лет, а отвечать приходилось на вопросы, накопившиеся за четыреста лет депривации мусульманской жизни в России, отвечать перед Богом и Отечеством за забытые имена погибших в ссылках и тюрьмах имамов, за 23 февраля 1944 года, за кровавые конфликты на Северном Кавказе, за доктрину, которую обвиняли во всех российских бедах. Помню горячие споры о том, что же сегодня держит верх — национализм и этническая мобилизация или же мусульманская со-весть (так!) и поиск духовности и истины. Есть ли ответ на этот вопрос сегодня? Ближе мы к ответу на него или дальше, чем были десять лет назад?

Да, тем, кто пришел после этого журнала, стало намного легче проложить себе путь в мусульманскую журналистику, потому что им открылось во всей очевидности то, что это в принципе возможно. Но вначале на это надо было решиться в неразберихе вырвавшихся наружу страстей по вере, культуре и нации. И все же журнал «Мусульмане» показал, как достойно и спокойно можно говорить о страшном, больном и горьком. И сегодня, когда дело касается деликатных или мучительных «брехтовских» вопросов, я неизменно обращаюсь к опыту журнала «Мусульмане».

Так, редактирование от Мурада Заргишиева было настоящим уроком практической политики. Он настолько метко расставлял акценты, что текст сразу же находил своего читателя-друга, полезного умме. Но кто тогда мог оценить этот интеллектуальный подвиг? Даже ближайšie соратники не смогли. А ведь и сегодня еще не появилось ни одного мусульманского издания, которое было бы лояльным без заискивания, умным без наукообразия, и проводило проповедь-да'ват ради духовности, а не ради политических дивидендов.

Кстати, последнее было главным уроком от его канонического редактора Шамиля Аляутдинова. Но кто тогда мог оценить и этот духовный подвиг? А ведь сегодня лучшей проповедью ислама в России является, на мой взгляд, сайт бывшего канонического редактора журнала — [Umma.ru](http://umma.ru). В нем по-прежнему царит тот дух, который этот талантливый российский проповедник вносил в журнал «Мусульмане». Как ему удается его сохранять — для меня остается мистической загадкой.

Тому уж десять лет, и многое изменилось. Теперь каждое духовное управление, каждый *джамат* и даже отдельные мусульмане создают собственное средство массовой информации. Иногда их даже более, чем два или три.

Более того, качество освещения проблем мусульман России неуклонно повышается. Но, увы, часто не за счет СМИ, в которых работают мусульмане. Уровня журнала «Мусульмане» не достигло ни одно из них. Не говоря уж об уровне дореволюционной мусульманской журналистики. Путь остальных СМИ за все последующие десять лет стал борьбой на удержание очерченных журналом «Мусульмане» политических и духовных рубежей.

Поздравляя всех нас с десятилетним юбилеем возрождения профессиональной русской мусульманской журналистики, я вместе со всеми, кто знал и любил этот журнал, скорблю о его скоропостижной гибели. Но дело его, как принято говорить на поминках, живет, ибо работавшая в журнале команда успела сделать несколько важнейших политических заявлений, которые суть следующие:

- В России мусульмане есть.
- В России есть почва для реставрации канонического единства ее мусульман, и рано или поздно должно произойти то самое неизбежное — существующее *de facto* да оформится *de jure*!

И это были не банальные заявления. Это был подход и направление деятельности. Это был план работы на годы. И его имеет смысл осуществить, поскольку это возможно и нужно сделать. Ведь в России уже есть не только мусульманский бизнес и не только мусульманские политики, не только расцветающее духовенство, но есть и то, что сумел нащупать, найти, выявить журнал «Мусульмане», — есть русская, российская мусульманская интеллигенция. «Вы думали нет? Есть! Не масса индифферентная, а совесть страны и честь». И этих людей уже не единицы и даже не сотни. Их гораздо больше. А значит, есть почти все для полнокровной жизни и стабильного развития общины.

Вот что это было. И ради чего. По-моему... ==

Язык невидимого



ДВИЖЕНИЕ «МУРАБИТУН»: ВЕРОУЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА Анастасия Ежова*

Мы продолжаем цикл статей Анастасии Ежовой о тенденциях и течениях в современном российском исламе. В данной статье речь пойдет о движении «Мурабитун», которое автор характеризует как фашистское. Поводом для написания статьи послужила публикация книги «Между викингом и скифом», автором которой является один из лидеров движения в России Вадим Сидоров (Харун ар-Руси).

Движение «Мурабитун» в России и за рубежом

Движение «Мурабитун» было создано шотландским аристократом ‘Абдулкадыром ас-Суфи (Яном Даллесом), шейхом трех *суфийских тарикатов* — *шазилийя*, *даркавийя* и *хабибийя*. Он произнес *шахаду* в мечети Каравин, его учителем стал Мухаммад ибн аль-Хабиб, а впоследствии ‘Абдулкадыр ас-Суфи был провозглашен шейхом трех вышеуказанных *тарикатов*.

«Мурабитун» в переводе с арабского означает «люди *рибата*», то есть люди крепости, призванной охранять кордоны земли ислама (*дар аль-ислам*) от территории войны (*дар аль-харб*).

«Мурабитун» изначально было ориентировано на активную социальную деятельность и призыв. Так, его члены обосновались в нескольких полуразрушенных домах Лондона, открыли там парикмахерскую, булочную, аптеку, больницу и книжный магазин. У движения завязались дипломатические отношения с рядом известных деятелей мусульманского мира, в частности — с министром иностранных дел Пакистана Каусаром Ниязи, шейхом университета аль-Азхар ‘Абдулхалимом Махмудом, королем Саудовской Аравии Халидом. Одна из активисток «Мурабитун», ‘Айша Бьюли, осуществила перевод ряда трудов ученых *маликитской* школы суннитского права: «Рисала» Абу Зейда аль-Кейравани с комментариями ‘Али аль-Ираки, перевод смыслов Корана за авторством ‘Абдаьгани Мелары, «Смыслы Корана» — «Смысл человека» ‘Али аль-Джамала из Феса, «Основы ислама» кади Ияда. Сообщества сторонников «Мурабитун» возникли в таких странах, как Великобритания (Англия, Шотландия, Ирландия), Германия, Испания, Италия, Мексика, ЮАР, Россия.

* Анастасия Ежова (р. 1983) — выпускница философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Аспирантка кафедры философии религии и религиоведения МГУ. Исламский журналист, публицист. В 1999 г. приняла ислам шиитского толка. В 2002–2005 гг. сотрудничала с Исламским комитетом России. Была личной помощницей Гейдара Джамала. В 2005–2007 гг. работала штатным автором порталов Islam.ru и IslamNews.ru. В настоящее время занимается переводом исламской теологической литературы на русский язык, пишет художественную прозу.

Наставляя своих мюридов на путь шариата и *тариката*, ‘Абдулкадыр ас-Суфи апеллирует не к одному лишь сакральному невербальному знанию, передаваемому от шейха к шейху, не только к Священному Корану, *сунне*, истории ислама. Он стремится говорить на понятном европейцам языке, а потому читает лекции, к примеру, о творчестве Достоевского, об Эрнсте Юнгере или о Хайдеггере, добивается от своих мюридов глубокого понимания их творчества, философских идей.

Таким образом, движение «Мурабитун» объединяет людей с европейским самосознанием и самоидентификацией. Как пишет один из российских последователей шейха ‘Абдулкадыра ас-Суфи Харун ар-Руси (Вадим Сидоров), «попадая в это общество, мюриды индийского, турецкого, арабского или любого другого неевропейского происхождения со временем приобретают *хал*¹ с ярко выраженным европейским отпечатком, по сути, становятся европейцами до мозга костей... для русских мусульман в Национальной организации русских мусульман (НОРМ) характерно наличие собственного, ярко выраженного европейского *хала*, что свидетельствует о состоявшемся превращении НОРМ в консорциум — кузницу цельного *типа*. Неслучайно в этой связи и то, что многие члены НОРМ одновременно являются и мюридами шейха ‘Абдулкадыра ас-Суфи...».

Действительно, то, что в России идеи ‘Абдулкадыра ас-Суфи нашли отклик именно у членов НОРМ в ее сложившемся виде, вполне закономерно. В результате внутренней борьбы «у руля» организации остались деятели, имевшие опыт членства в националистических организациях, адепты концепций «новых правых». Интерес ‘Абдулкадыра к евгенике, фашизму, сословности, критика современного западного капиталистического общества с правых позиций — все это вошло в резонанс с теми концепциями, которых члены НОРМ придерживались до обращения в традиционный суннизм. Они естественным образом сохранили приверженность части своих старых взглядов, и это предопределило ход их поиска внутри суннитского богословия.

Ретроспективный анализ развития взглядов ряда последователей «Мурабитун» в России показывает, что их путь к *шахаде* начался с интереса к воззрениям «раннего», «правого» Гейдара Джамала, который потом сменился разочарованием в его «левом крене» и концепции «политического ислама» и «политической теологии», равно как и в теории о «диаспоре как о новом пролетариате»². Попытка эмансипироваться от влияния Джамала привела их вначале в *салафизм*, а затем — в «Мурабитун», в рамках которого они нашли возможность развития и ранее симпатичных им теорий на базе ортодоксального суннизма. Религиозные умопостроения членов русского «Мурабитун» тесно переплетены с их рефлексией относительно путей исторического развития России и русской нации. Если присмотреться к приведенной цитате из статьи Харуна ар-Руси внимательнее, то можно выявить важное словосочетание — «кузница цельного *типа*». Разумеется, то, о чем пишет ар-Руси, — это некая проекция желаемого и еще не существующего — на будущее, ибо многие, не считающие русских европейцами, не согласятся с его оценкой цивилизационной идентичности русской нации. Однако Харун ар-Руси пишет не о том русском народе, который реально существует в настоящее время, а о том, каким он, по его мне-

¹ Мать, особый тип, позволяющий выявить специфические черты членов определенного сообщества, принципиально отличающие их от участников иных общностей.

² Важно отметить, что аналогичное разочарование постигло и учеников Джамала, пришедших в шиитский ислам через увлечение его взглядами. Дальнейший вектор развития их убеждений можно охарактеризовать как путь от джемализма через «классический» хомейнизм — к ортодоксальному шиизму *иснаширийя* (двунадесятников), понимаемому ими, между тем, неодинаково.

нию, должен стать, возродившись заново на базе определенной консорции, принявшей за внутреннюю установку ориентацию на вероучение *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а* и *маликитскую* школу права. Эти два маяка — приверженность ортодоксальному суннизму и *маликитскому мазхабу* (в основе которого лежит практика жителей Медины) являются главными идеологическими ориентирами движения «Мурабитун».

Но чтобы подступиться к осмыслению феномена обращения бывших русских националистов, эволаистов³, фашистов к идеологии «Мурабитун», следует выявить наиболее важные аспекты учения 'Абдулкадыра ас-Суфи. Стоит прежде всего сказать об а) теологическом и гносеологическом базисе; б) философии истории и социальной доктрине и в) экономических воззрениях основателя «Мурабитун» и его основных идейных вдохновителей.

Акыда ахл ас-сунна ва-ль-джама'а как основа идеологии движения «Мурабитун»

Последователи шейха 'Абдулкадыра утверждают, что идейная платформа их движения основывается на ортодоксальном исламском вероучении, якобы идущем от самого пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род его). Разумеется, аналогичный тезис отстаивают последователи практически любого другого исламского (или квазиисламского) направления, приводя свои доводы. Несмотря на то, что еще пророк Мухаммад (ДБАР) оставил мусульманам четкие критерии для поиска верного решения в спорах, едва ли можно говорить о каком-то взаимопонимании между приверженцами этих течений, потому что у каждого из них — своя методология. Таким образом, у них не существует общего поля аргументации, где возможно было бы вести какой-то диалог.

Конечно, в объективном плане в исламе это поле есть, оно обозначено в *хадисах*, которые *теоретически* должны быть общепризнанными, но *на практике* по понятным причинам игнорируются как не вписывающиеся в рамки внутренней логики целого ряда направлений, претендующих на «исламскую аутентичность».

В любом случае мы должны понимать, что конкретно адепты движения «Мурабитун» понимают под *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*. Не только дилетанты, но и ученые-востоковеды относят к суннитам адептов движения «Ихван аль-мусулимин» («Братьев-мусульман»), *салафизма* и т.д. Однако сторонники «Мурабитун» говорят о жестких рамках: *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а* — это приверженцы двух *мазхабов* в *'акыде* (*'ашаритского* и *матуридитского*) и четырех *мазхабов* в *фикхе* (*ханафитского*, *маликитского*, *шафи'итского* и *ханбалитского*). Все остальные, обозначающие себя как суннитов, и, возможно, следующие какому-либо из этих *мазхабов*, — это «заблуждающиеся мусульмане».

Что касается самих адептов «Мурабитун», то основным их доводом является тезис об их всецелом следовании ортодоксальной традиции *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*, запечатленной в *тафсирах* (комментариях к Священному Корану), трудах по *фикху* (праву) и *'акыде* (вероучению), сохранявшими преемственность поколениями ученых, строго следовавшими одному из традиционных суннитских *мазха-*

³ Эволаисты — последователи эволаизма, концепции Юлиуса Эвола (1898–1974), теоретика традиционализма, эзотерического фашизма, отводившего основную роль не брахманической касте, а касте кшатриев. Наиболее известные его книги: «Восстание против современного мира», «Оседлать тигра».

бов. В свою очередь, эти ученые опирались на то, что передали им *сахавы* (сподвижники пророка Мухаммада) и *таби'ины* (представители следующего за сподвижниками поколения).

По мнению адептов «Мурабитун», последователи иных направлений, относящие себя к суннитам, в своей идеологии и практике не опираются на то, что дошло от ортодоксальных суннитских ученых, *таби'инов* и *сахавов*. С точки зрения 'Абдулкадыра ас-Суфи, взгляды приверженцев данных течений являются продуктом эпохи модерна, подделками под суннизм, в русле которых получили распространение разного рода девиации. *Мурабитун* жестко (и порой справедливо) критикуют ваххабитов за их ошибки и примитивный буквализм в теологических вопросах, за неверную методологию в науке *хадисоведения* (*'ильм аль-хадис*). Согласно их доводам, недопустимо выводить нормы исламского права и выносить какие-либо суждения с позиций ислама, бессистемно ознакомившись с набором преданий, без выяснения обстоятельств произнесения тех или иных слов, совершения каких-либо действий Пророком (ДБАР), рассматривая их вне общего контекста, без глубоких знаний в области арабской филологии⁴. Представители движения выступают за жесткую профессиональную сегрегацию специалистов по исламским наукам. Они подчеркивают, что не существует «алимов вообще»: есть *мухаддисы* (эксперты в области *'ильм аль-хадис*), есть *муфассиры* (специалисты по толкованию Священного Корана), есть *факихи* (знатоки мусульманского права).

Стоит отметить, что такой подход к образованию и науке, возможно, имеет корни в исторически сложившейся ортодоксальной суннитской традиции, но он также аналогичен и современным западным представлениям о специализации, в рамках которой человек получает доскональные знания о какой-то узкой области. Вместе с тем кругозор такого специалиста весьма узок, у него нет целостного знания и представления о соотношении общего и частного. Недостатки такого подхода особенно заметны в областях знания, которые пересекаются с практикой, требующей от специалиста немалой ответственности — например, в медицине.

Впрочем, концепция знания мурабитун намного сложнее, о чем мы еще поговорим чуть позже. Потому что главный элемент правильного понимания сунны для них — это не рациональный анализ хадисов и штудирование книг, а следование 'амалю (практике) жителей Медины, в котором (ой), на их взгляд, воплощена живая, изустно передававшаяся традиция ислама.

«Мурабитун» также критикует последователей «Братьев-мусульман», обвиняя их в эклектизме и приверженности опасным девиационным практикам вроде террористических методов (которые используются представителями радикальных ответвлений этого многоликого движения), рассматриваемых в качестве неприемлемого и вредного модернистского веяния. В идеологии *ихвановцев* они прослеживают *исмаилитское* и шиитско-исна'ашаритское влияние.

Что касается несуннитов, то члены движения «Мурабитун» и за рубежом, и в России занимают крайне антишиитскую позицию. Степень экзальтации, которая переполняет публицистов-мурабитунцев при одном упоминании о шиизме и шиитах, способствует резкому снижению «планки» публикаций приверженцев движения, пишущих на шиитскую тему; крайняя пристрастность заставляет их нисходить до банального популизма и неверного отображения шиитской позиции.

⁴ Сам по себе этот принцип, вне всякого сомнения, является исламским, вопрос лишь в том, какой набор хадисов принимается в качестве достоверных, — а здесь тоже существуют серьезные разногласия.

Примером такой фальсификации может служить статья «Мифы об Омейядах», размещенная в русскоязычном блоге сообщества «Мурабитун». В частности, в ней есть такие слова: «...При всем при том, что вопрос “аморальности” Язида⁵ также не так-то прост, по крайней мере есть мнение, — которое нельзя просто с ходу отвергать, — что ему уготован Рай...Аллаху Алям». Возможно, с точки зрения автора статьи такое абсурдное для знакомого с историей мусульманина утверждение и «нельзя отвергать», но с позиций исторической правды является установленным тот факт, что именно на руках Язида — кровь любимого внука пророка Мухаммада (ДБАР) Хусейна (мир ему), убитого при Кербеле. Одного этого достаточно для крайне негативного отношения к Язиду, которое испытывают не только шииты, однако известно, что данный халиф открыто нарушал нормы шариата, «прославился» страстью к выпивке, разврату, роскоши и другим запрещенным исламом практикам, а также отличался патологической жестокостью и несправедливостью.

Любопытно, что чуть ранее тот же автор в одной из находящихся в публичном доступе бесед пытался опровергнуть доктрину пришествия Махди (мир ему), ссылаясь на то, что в сборнике *хадисов* Малика ибн Анаса (основателя *маликитского мазхаба*) «Муватта» нет преданий о нем. Это — также весьма сомнительный тезис, они присутствуют в других сводах *хадисов*, куда более авторитетных для *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*, например, в сборнике «Сахих Муслим».

Все эти пассажи свидетельствуют о том, что претензии русских (и не только) *мурабитунов* на «аутентичность» также во многом декларативны. В своих умопостроениях они порой полагаются на собственные догадки и симпатии (либо, наоборот, антипатии). А иногда, при отсылке к авторитетным суждениям ортодоксальных ученых, выявляются противоречия их теорий исторической очевидности и тем *хадисам*, которые в рамках самой же суннитской традиции рассматриваются в качестве достоверных.

Гносеология

Концепция знания у *мурабитунов* имеет свою специфику. Для них знание — это не сведения, которые можно почерпнуть из книг посредством их изучения и рационального осмысления; знание — непосредственное, живое — дается нам в опыте и передается из поколения в поколение от шейха к шейху. Такой подход проистекает из самой сущности *суфийской* доктрины. В частности, в статье «Наш *тарикат*» в блоге русского «Мурабитун» говорится следующее: «Суфизм не является наукой в обычном понимании этого слова. Следовательно, *суфийские* знания невозможно постичь исключительно с помощью абстрактного мышления, извлекая их из книг или приходя к ним через собственные умозаключения. В значительной степени это относится к любым знаниям в области Дина (религии), будь то знания в вероубеждении (*'акиды*), юриспруденции (*фикхе*), Коране, *хадисах* (пророческих преданиях) и т.п. Именно поэтому «наука» в западном понимании и «ильм» (исламское знание) — не одно и то же.

В исламе «книжники», т.е. люди, почерпнувшие свои знания исключительно из книг, не признаются *алимами* (учеными). *Алимами* в любых областях религиозного знания в исламе признаются только люди, получившие *иджазу* — подтверждение их

знания, полученное от непосредственного учителя, который имеет такую *иджазу* от своего учителя, имеющего такую *иджазу* от своего учителя, и так вплоть до пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Во времена первых трех поколений мусульман (*салаф ас-салих*) в Мединской общине не было особой потребности ни в книгах, ни тем более в научных школах. Знания, полученные от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, передавались естественным путем, из уст в уста, из поколения в поколение.

Однако по мере распространения ислама на новых землях, среди людей, которые не были воспитаны самим пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, стало происходить то, о чем великий исламский ученый Хасан аль-Басри сказал: «Ислам в книгах, мусульмане в могилах». Истинных живых знаний стало меньше из-за ухода из жизни лучших мусульман, как то было предсказано в пророческих преданиях (*хадисах*). Это коснулось всех сфер жизни мусульман и привело к необходимости создания школ сохранения и передачи знаний, в результате чего возникли *мазхабы калама* (богословия) и *фикха* (юриспруденции), в которых не было нужды при лучших поколениях мусульман». Что касается суфизма, знание в котором называется «знанием сердца» (*ма'арифат кальбийя*), то в его рамках «со временем назрела необходимость в создании целевых каналов передачи этих знаний, которыми стали *суфийские тарикаты*». По мнению приверженцев *такаввуфа*⁶, их носителями являются *суфийские шейхи*.

В данном контексте возникает вопрос: каким образом может быть гарантирована сохранность знания в цепочке его изустной передачи от шейха к шейху? В такой системе передаваемое знание не застраховано от фальсификаций, ибо не существует никаких письменных источников, к которым можно было бы апеллировать, датировать их и т.д. Конечно, сами суфии убеждены в том, что Аллах сохраняет эти сакральные знания. Однако есть ли у них доводы в пользу того, что именно их знание находится под защитой Всевышнего — в отличие от «самопальных концепций» их оппонентов? Ведь, заметим, речь идет не о Священном Коране, в неискаженности которого верит любой мусульманин. И стоит отметить, что объективных доводов в пользу аутентичности тех знаний, которые передаются в русле сегодняшних *тарикатов*, просто нет.

Кроме того, утверждения о том, что у первых поколений мусульман знания не фиксировались в письменном виде, а существовали только в виде *'амаля* (то есть непосредственной практики, передававшейся в Медине из поколения в поколение), ибо записывать что-то, кроме Корана, было якобы запрещено, не соответствуют действительности. В частности, исламский ученый, доктор Мустафа Авлийа'и, пишет в своем труде «Этапы развития науки *хадисоведения*»: «Мусульмане, которые были современниками Пророка (ДБАР), обладали преимуществом в виде прямого общения с ним и возможности задать ему вопросы, касающиеся их жизни в социуме. Тем не менее на протяжении жизни Святого Пророка (ДБАР) среди мусульман находился источник Божественного Откровения, и важность того, чтобы записывать слова Посланника Аллаха (ДБАР), не была полностью ими понята. Однако после кончины Пророка (ДБАР) мусульмане осознали неизбежную необходимость записи *хадисов* для того, чтобы избавиться от затруднений последующие поколения. Соответственно начиная с эпохи правления первого *халифа* мусульмане остро ощутили потребность в записывании *хадисов*. Нельзя не отметить, что 'Али (мир ему), первый имам мусульман-шиитов, обладая проницательностью, первым приказал записывать высказывания

⁵ Язид (Йазид) (645–683) — второй арабский халиф из династии Омейядов.

⁶ Суфизма.

Пророка (ДБАР) еще при его жизни. Он записывал слово в слово то, что слышал от Пророка (ДБАР)».

Автор книги «Та'сис аль-ши'а» пишет: «Знайте, что шииты были первыми, кто озаботился сбором записей о действиях и словах Пророка (ДБАР) в эпоху правления халифов. Они последовали пути своего имама 'Али, повелителя правоверных (мир ему), ибо он записывал и классифицировал *хадисы* во времена Святого Пророка (ДБАР). Со слов Мухаммада ибн 'Азафара известно, что шейх Абу-ль-Аббас ан-Наджаши рассказал: "Я сидел вместе с Хакамом ибн 'Аййина рядом с Абу Джа'фаром Мухаммадом ибн 'Али аль-Бакиром (мир ему). Хакам начал задавать вопросы, и Абу Джа'фар (мир ему) отвечал на них неохотно. Между ними возникли разногласия по одному вопросу. Затем Абу Джа'фар сказал: "Сынок, встань и принеси книгу 'Али". Он принес большую толстую книгу и открыл ее. Он стал внимательно изучать ее, пока не нашел описание той проблемы (по поводу которой они дискутировали). Абу Джа'фар сказал: "Это рукопись 'Али (мир ему), которую он составил под диктовку Посланника Аллаха, да будет с ним мир и благословение Всевышнего"».

Это предание согласуется с тем, что я нашел в книге Наджани «Риджал». Кроме того, два других источника подтверждают аутентичность приведенного выше *хадиса*.

Другое предание, которое свидетельствует о внимании, уделяемом шиитами записи *хадисов*, повествует о случае из жизни Фатимы Захры (мир ей). Однажды Фатима (мир ей) не могла найти рукопись с *хадисами*. Как сообщается, она настаивала на том, чтобы ее служанка поискала ее, говоря: «Поищи, где она. Она так же ценна для меня, как мои сыновья Хасан и Хусейн».

Сунниты начали записывать *хадисов* после смерти Святого Пророка (ДБАР) после продолжительных дебатов между сторонниками и противниками этого. В связи с этим 'Айша сообщила: «Мой отец Абу Бакр собрал пятьсот *хадисов* Посланника Аллаха (ДБАР), и однажды он сжег все эти записи».

Существует несколько преданий, согласно которым второй халиф, 'Умар препятствовал тому, чтобы люди рассказывали *хадисы* Святого Пророка (ДБАР).

Сунниты начали записывать *хадисы* с начала второго века хиджры, когда омейядский халиф 'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз приказал собирать их и составлять их сборники. Согласно широко распространенному мнению, Ибн Джурайдж был первым суннитом, который записывал и собирал *хадисы*.

Здесь стоит упомянуть о том, что помимо членов семейства Пророка (ДБАР), их шииты начали записывать *хадисы* раньше суннитов. Абу Рафи' был первым человеком, который наряду с Ахл аль-Бейт (мир им) взял на себя выполнение этой задачи. Тем не менее были и некоторые другие люди, помимо Абу Рафи' и после него, которые занимались этим. В их числе были 'Убайдулла ибн Аби Рафи', 'Али ибн Аби Рафи', Салман аль-Фариси, Абу Зарр аль-Гифари, Асбах абн Нубата и другие. Далее Авлия'и приводит множество других имен сподвижников Пророка и 'Али ибн Аби Талиба (мир им), которые изначально занимались записью *хадисов*.

Таким образом, тезис о том, что «в Мединской общине не было особой потребности ни в книгах, ни тем более в научных школах, знания, полученные от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, передавались естественным путем, из уст в уста, из поколения в поколение», является, мягко говоря, спорным. В конечном счете его можно расценить как верный применительно к такому направлению, как *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*, однако это не означает, что у первых поколений мусульман не было в наличии записанных *хадисов*.

С другой стороны, говоря о сердечном знании — *ма'арифат кальбийя* (а это понятие присутствует не только в *суфизме*, но и в шиитском *ирфане*), *суфий-мурабитун* желают не только сделать акцент на его изустной передаче, но и противопоставить его логически и рационально верифицируемому знанию. Вот что пишет Харун ар-Руси, критикуя ваххабитов: «Есть нечто большее, чем логическое знание — то, что христианский теолог Николай Кузанский называл "умным незнанием", а в исламе называется *ма'арифатом* — знанием, но не рациональным, а сердечным. Ваххабитская "ясность" в этом вопросе не только является ошибочной, но и закрывает путь для сердечного видения, которое открывается лишь в рамках суннитского апофатического вероубеждения. Неслучайно в этой связи, что не кто иной, как Шейх аль Акбар — величайший мэтр суфизма Ибн Араби — был *захиритом*, т.е. последователем наименее рационалистического *мазхаба* даже по сравнению с *ханбалитским*...»

Довольно любопытно, что, критикуя рационализм и отстаивая два *мазхаба* в 'акиды ('ашаритский и матуридитский), *мурабиты* справедливо увязывают рационализм с *мутазилизмом* и совершенно несправедливо отождествляют его с положениями шиитской теологии. Возможно, этому не в последнюю очередь поспособствовали некоторые шиитские аятоллы, увлеченные идеями тех или иных философов, часто в ущерб тому, что говорится в *хадисах* Пророка (ДБАР) и Непорочных Имамов (мир им), — а только они, в свою очередь, могут обладать непрерываемым авторитетом, исходя их самой логики шиитского вероубеждения. И утверждение, что вся шиитская 'акида целиком и полностью является рационалистической или «дуалистической», опровергается «Шиитской антологией», составленной известным ученым-джа'фаритом Табатаба'и. Во второй части этого фундаментального труда он приводит проповеди Пророка (ДБАР) и Непорочных Имамов (мир им) о сущности *таухида* (Единобожия и Божественного Единства). Не будет лишним привести некоторые цитаты.

«'Али (мир ему) сказал: "Хвала Аллаху, Которому воздают хвалу говорящие, чьи милости не могут быть сочтены людьми исчисляющими, и чья Истинность не может быть поставлена под сомнение ничьими [тицетными] стараниями. Никто не может познать Его, как бы велико ни было стремление [к этому], и самые пронзительные умы, исполненные глубокомыслия, неспособны постигнуть Его. Нет определенных пределов (хадд махдуд) у Его атрибутов (сифат), Он [находится] вне категорий времени (вакт ма'дуд) и пространства (аджал мамдуд). Он творит все создания посредством Собственной Власти, посылает ветры благодаря Своей Милости и установил на земле опоры, чтобы не сотрясалась земля.

Первая ступень в религии — это познание (ма'арифат) Его. Чтобы усовершенствовать свое знание о Нем, необходимо признать Его [существование] (тадик). Совершенствование Его признания выражается в исповедании Его Единства (таухид). Усовершенствование исповедания Его Единства заключается в искренности (ихлас) по отношению к Нему. И совершенная искренность по отношению к Нему подразумевает отрицание наличия у Него атрибутов (нафи ас-сифат), поскольку признаком любого атрибута является то, что он не является тем, что обладает атрибутами (аль-мавуф), а признаком того, что обладает атрибутами, само по себе атрибутом не является».

'Али ибн Аби Талиб (мир ему) также изрек: «Глаза не видят Его посредством зрения, но сердца видят Его через истинны веры (хака'ик аль-иман)».

В «Шиитской антологии» также приводится такой *хадис* об имаме Джафаре ас-Садики (мир ему): «Абу Басыр рассказал, как он попросил Абу 'Абдуллу — да будет мир с ним: “Расскажи мне об Аллахе, Всемогущем и Всевластном. Увидят ли Его верующие в День Воскресения?”»

Он ответил: “Да, и они уже видели Его до Дня Воскресения”.

Абу Басыр спросил: “Когда?”

Имам (мир ему) пояснил: “Когда Он сказал им: “Разве не Господь ваш Я?”»

Они сказали: “Да, мы свидетельствуем...” (7:172).

Потом он помолчал немного и добавил: “Поистине, верующие видят Его в этом мире до Дня Воскресения. Разве ты не видишь Его сейчас?”

Абу Басыр сказал ему: “Да стану я мучеником на этом пути! Следует ли мне передать это (другим) от тебя?”

Он (мир ему) ответил: “Нет, если ты расскажешь это, невежда, не понимающий значения [моих слов], отвергнет это. Затем он решил, что речь идет об уподоблении [Аллаха творениям], и что это неверие (*куфр*). Но созерцание сердцем (*аль-ру'йат би-ль-кальб*) не аналогично видению глазами (*аль-ру'йат би-ль-'айн*). Превыше Аллах всего того, что говорят о Нем антропоморфисты (*мушаббихун*) и еретики (*мулхидун*)!”».

Этот пример свидетельствует о том, что, несмотря на высокоинтеллектуальный уровень исследований и материалов, предоставляемых членами русского «Мурабитун», они не свободны от тенденциозности и порой прибегают к фальсификациям, когда речь идет о пропаганде против их идеологических противников.

Философия истории и социальная доктрина

«Мурабитун» — движение, призывающее к активному участию в социальной жизни. Как отмечает шейх 'Абдулкадыр ас-Суфи, «понимание высших аспектов Дина невозможно без принятия принципа, поддерживающего и распространяющего Дин на все общество. Этим принципом является шариатский *амр*, т.е. шариатская власть. Когда был устранен *амр*, поддерживающий шариат, исчезло и понимание *таухида*, ибо эти две вещи связаны между собой». Цель движения — наиболее полное внедрение шариата (в том виде, в каком его понимают *мурабитун*) в повседневную жизнь членов движения. Ориентиром для них служит жизнь и практика мединцев (*'амаль ахль Мадина*), иными словами, шариат интерпретируется *мурабитун* через призму *маликитской* школы права. Один из идеологов движения, автор книги «Эзотерическая девиация в исламе» 'Умар-паша Вадильо, обращает внимание на то, что «*фикх* должен рассматриваться внутри сообщества, управляемого *амиром*, и только так все важнейшие соображения могут быть поняты в том смысле, который они изначально имели. Без *амра* (политического управления) не может быть корректного понимания *фикха*... Далее, понимание *фикха* изначально должно включать в себя то соображение, что лишь *амир* может обеспечивать его практическую реализацию. Ислам утверждает *амр* (практическое руководство общиной), поэтому понимание *фикха* в отрыве от этого будет неизбежно искаженным».

Какова схема реализации воплощения шариата на земле, предлагаемая «Мурабитун»? Она заключается в создании сети *джамаатов*, управляемых *амирами*, кото-

рые взимают с общины *закят*. Подчеркнем, что речь идет о господстве именно политических деятелей, а не представителей духовенства.

При этом «Мурабитун» не позиционирует себя как политическую партию, объединяет не активистов, а факиров — членов *тарикиата*.

'Абдулкадыр ас-Суфи так трактует термин *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*: сунна означает традицию, *джамаат* — политику. При этом глава «Мурабитун» предостерегает от того, чтобы говорить о «традиционном» и «политическом» исламе как о неких противостоящих друг другу феноменах. Он отмечает, что «в истинном исламе политика неотделима от ритуала, обряда. Любое публичное политическое действие сопряжено с ритуальными, законодательными предписаниями». «В исламе политика — это ритуал, а ритуал — это политика», — говорит он, по иронии судьбы практически повторяя знаменитые слова аятоллы Хомейни. Разумеется, в том, что касается модели воплощения этого исламского принципа, позиция ас-Суфи и Хомейни естественным образом принципиально различается, ибо ас-Суфи является противником передачи рычагов власти тем, кого в сегодняшнем исламском мире называют представителями мусульманского духовенства (то есть исламским ученым).

Это — теологические основы социальной доктрины «Мурабитун». Детально же она была проработана шейхом 'Абдулкадыром ас-Суфи и его мюридом 'Умаром-пашой Вадильо. В данном контексте уместно упомянуть о философии истории, принципе *султанийи*, а также о взглядах на вопросы экономики.

С точки зрения 'Абдулкадыра ас-Суфи, человеческая история развивается по трехэтапной модели, проходя через «эру бедуина», «этап *асабии*» и «эпоху царства». Важно отметить, что в понятие «бедуин» он вкладывает свое значение, отличное от того, в каком его употребляли во времена Пророка Мухаммада (ДБАР). Тогда это слово обозначало диких арабов, находящихся на самом низком уровне культурного развития и живущих на природе. Для 'Абдулкадыра ас-Суфи бедуин — не кочевник, а человек, принципиально находящийся вне социума. Как поясняет мюрид 'Абдулкадыра Харун ар-Руси, «даже живя в оседлом городе, он находится вне города и, даже живя в обществе, он находится вне общества». Это можно понимать как социальную характеристику, а можно, на мой взгляд, — и как внутреннее состояние человека. Грубо говоря, «бедуин» в этом смысле это метафора маргинала — человека противостоящего сложившимся социальным структурам и идентичностям.

В период *асабии* такие бедуины-маргиналы начинают образовывать группы, общества, основывающиеся на осознании общности между ними, которая мыслится членами группы в качестве субъекта истории. Это позволяет бедуинам выжить и получить перспективу существования в будущем.

Эпоха царства характеризуется созданием нового общества и цивилизации. 'Абдулкадыр ас-Суфи связывает его устойчивость с **принципом монархического правления**.

Каким образом происходит переход от одной стадии к другой? Харун ар-Руси так поясняет мысль 'Абдулкадыра ас-Суфи: «Надо указать на внимание шейха к вопросам евгеники... Шейх неслучайно указывает, что далеко не все «бедуины» могут перейти в фазу *асабии*, и очевидно, что далеко не всякая *асабия* может родить «царство» и даже влиться в него... [это есть] не что иное, как евгенический отбор или отсев, критериями которого стала способность создавать эффективные социальные и цивилизационные структуры».

По мнению идеологов русского «Мурабитун», философия истории 'Абдулкадыра ас-Суфи вкупе с учением Льва Гумилева об этногенезе лежит в основе отстаиваемого ими проекта консорциев (групп людей, объединенных общей исторической судьбой).

Данный проект воссоздания русской нации на новой основе напрямую коррелирует со вторым этапом — периодом *асаби* — в соответствии с классификацией, данной 'Абдулкадыром ас-Суфи.

Что касается «идеальной монархии» (третья стадия исторического развития), то для 'Абдулкадыра ас-Суфи таковой выступает Османский *девлет*. Член русского «Мурабитун» Амир аль-Хамдани рефлексировал по этому поводу: «Каждый султан был мюридом (учеником) какого-либо *мурида* (наставника), собственно, именно с разрешения *суфийского* шейха эмир Осман-гази, да примет Аллах его усердие на пути к Нему, и начал объединение турецких *бейликов* (эмиратов) в одно мощное государство». Османская империя также импонирует *мурабитун*, поскольку она оказывала противодействие шиизму и ваххабизму.

Стоит отметить, что, наряду с Османской империей, омейядский халифат также служит для *мурабитун* объектом восхищения. В одной из своих статей Харун ар-Руси назвал Муавию «образцом исламского правителя». Вместе с тем среди множества мусульман существуют сомнения в праведности этого исторического деятеля, выступившего, как известно, против законного правителя мусульман — 'Али ибн Аби Талиба (мир ему), и развязавшего против него войну, вошедшую в историю ислама под названием Сиффин. Более чем странными выглядят и некоторые достоверные *хадисы* из суннитских канонических сборников, касающиеся личности Муавии. В частности, в нем есть *хадис* № 6220: «Муавия спросил Сада ибн Абу Вакаса: “На каком основании ты не ругаешь Абу Тураба?” Сад ибн Абу Вакас ответил: “Достаточно было бы одной из трех вещей, свидетелем которых я был, и видел и слышал я три вещи от Пророка (ДБАР), чтобы отказаться от этого намерения. Первая — когда Пророк (ДБАР) в одной из битв оставил 'Али (мир ему) вместе с женщинами и детьми, запретил ему выходить в военный поход, и когда 'Али задал ему вопрос о причине этого, Пророк (ДБАР) ответил: “Ужели тебе недостаточно того, что твое положение по отношению ко мне равняется положению Харуна по отношению к Мусе?” Второе событие — битва при Хайбаре, когда Пророк (ДБАР) передал знамя 'Али. Третье — это ниспослание *аята*: “Давайте призовем ваших детей и наших детей...”, Пророк (ДБАР) призвал 'Али Фатиму, Хасана и Хусейна (мир им) и сказал: “Господи! Ты Свидетель — это члены моего Дома (Ахл аль-Бейт)!”». Практика ниспослания проклятий 'Али ибн Аби Талибу (мир ему), зятю и двоюродному брату Пророка (ДБАР), мужу его любимой дочери Фатимы (мир ей), равно как и многочисленные прецеденты нарушения норм шариата, имели место быть в период правления Омейядов. Равно позорным пятном на их правлении является убийство правительственными войсками любимого внука Пророка (ДБАР) в неравном сражении при Кербеле.

Таким образом, *мурабитун* позиционируют собственный политический идеал как аутентично исламский. В действительности он целиком и полностью вписывается в логику направления *ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*, однако она, в свою очередь, находится в диссонансе с фактологией из области исламской истории, свидетельствующей о том, что люди, служащие для *мурабитун* религиозно-политическим ориентиром, далеко не всегда действовали в согласии с шариатом и в интересах ислама.

Аналогичным образом сословность, присущая османскому обществу и культивируемая *мурабитун*, имеет обоснование в некоторых из *мазхабов ахл ас-сунна ва-ль-джама'а*, в частности в *ханафитском*, в котором наложены ограничения на право жениться на арабах-курайшитках. Однако это мнение является частным и более поздним. Анализ более древних школ *фикха*, восходящих по цепочке авторитетов, которые передавали шариат в неискаженном виде, показывает, что такой подход чужд самим принципам проповеди и социальной практики пророка Мухаммада (ДБАР).

Экономические взгляды

Экономическая доктрина движения «Мурабитун» была детально проработана одним из теоретиков движения 'Умаром-пашой Вадилью, автором книги «Эзотерическая девиация в исламе». В фетве о банковских операциях он опирается на то, что ростовщический процент (*риба*) открыто запрещен в Коране и *сунне*, и его взимание является одним из тяжчайших преступлений согласно шариату. О запрете на ростовщичество неоднократно говорится во второй суре «Аль-Бакара» (*аяты* 275, 277, 278), в третьей суре «Семейство Имрана» (*аят* 130), в четвертой суре «Женщины» (*аяты* 159–160). Кроме того, существует *хадис* Пророка (ДБАР): «*Дихрам, полученный путем ростовщичества (рибы) сознательно, хуже, чем совершить прелюбодеяние тридцать шесть раз*» (существуют разные вариации этого *хадиса*, в одном из них грех ростовщичества приравнивается к прелюбодеянию с собственной матерью).

Мурабитун радикально трактуют запрет на ростовщичество. Они выступают за слом всей существующей капиталистической экономической системы. Как отмечает 'Умар Вадилью, многие мусульмане вкладывают деньги в банки, ссылаясь на вынужденную ситуацию. С точки зрения Вадилью, необходимо создать такие экономические условия, чтобы подобных ситуаций у мусульман не возникало в принципе. Он также объявляет исламский банкинг запрещенным, точно так же, как — с точки зрения шариата — не дозволено (*харам*) деятельность обычных банков. По мнению Вадилью, исламские банки прибегают к уловкам, просто маскируя взимание ростовщического процента внешне дозволенными операциями. Таким образом, разница между обычным и исламским банкингом — «косметическая». В то время как открытый рынок является местом дозволенной торговли, банк предназначен для ростовщичества.

Вадилью отмечает, что исламские модернисты намеренно сузили понятие *риба*, раскрываемое и в Коране, и в *сунне*, отмечая, что коранического определения ростовщического процента достаточно и что нет нужды обращаться к его более расширенному определению в *сунне*. По словам Вадилью, все это было сделано для того, чтобы создать почву для искусственного «охлаживания» банковского дела (например, при помощи сокрытия процентной операции за счет «двух продаж в одной»).

Далее, Вадилью выступает против капитализма, ибо он основан на ростовщичестве. «Пока мы остаемся рабами *риба*, наша мусульманская нация будет порабощенной». Поэтому он называет капитализм «сегодняшним лицом *куфра*». Исламская экономика основывается на следующих принципах: необходимо покупать, продавать то, что реально существует (включая услуги), платить тем, что реально существует, и тому, кто реально существует. Харун ар-Руси поясняет при этом: «В капиталистической экономике покупаются и продаются не существующие реально блага (форварды, фьючерсы, деривативы, акции, облигации и т.п.) за не существующие и обесцененные деньги (векселя, бумажная валюта, «ценные бумаги») и в подавляющем случае фиктивным субъектам — юридическим лицам».

Какую же альтернативу капиталистической экономике предлагает «Мурабитун», учитывая, что она основывается на запрещенных шариатом вещах? Члены движения относят к элементам ростовщичества даже то, что другие исламские ученые считают не имеющим к нему отношения и, соответственно, дозволенным. В качестве примера можно привести призыв *мурабитун* к упразднению бумажных денег и их замены золотым динаром и серебряным дирхамом, которые должны стать расчетной мерой товаров. По словам Вадилью, никакие исламские банки уже не будут в состоянии вести свою деятельность с опорой на чистое золото и серебро.

Помимо этого, в сфере экономики *мурабитун* отвергают использование циркуляров и директив, настаивая на прямой торговле при помощи караванов товаров, следующих на место назначения.

«Золотой век», или назад в будущее

Разумеется, в этой относительно небольшой статье невозможно было осветить все аспекты идеологии движения «Мурабитун». Стоило бы сказать и о *маликитском мазхабе* как принципиальном выборе, с одной стороны, членов Национальной организации русских мусульман, и, с другой стороны, ‘Абдулкадыра ас-Суфи, об отношении «Мурабитуна» к палестинскому вопросу, о проекте консорциума как основы воссоздания русского народа, осмысленном Харуном ар-Руси с оглядкой на философию истории ‘Абдулкадыра ас-Суфи... Впрочем, это предмет отдельного разговора, тем более что материалы по этой теме доступны.

В целом же если проанализировать ключевые аспекты идеологии движения «Мурабитун», то можно констатировать то, о чем мы уже вскользь упоминали в начале нашего исследования: безусловно, это — правое, монархическое, фашистское религиозно-политическое движение. Когда я употребляю термин «фашистское», я использую его в качестве устоявшегося понятия, отражающего специфику движений определенного типа, а не из желания придать собственному тексту тенденциозно-пафосный характер в духе опусов либерально-демократической прессы. Жесткая вертикаль, тщательно охраняемый принцип субординации, сословности, евгенического отбора; представление об избранной «ортодоксальной» группе, призванной взять в свои руки бразды правления обществом, жесткая сегрегация с представителями иных, «заблудших» или «контрабандно внедренных в ислам» течений, критика современного мира ведется строго справа, а ни в коем случае не слева.

Наконец, самое главное — миф о «золотом веке» — сугубо правый. Вместе с тем он имплицитно свойствен самому направлению *ахль ас-сунна ва-ль-джама’а* — говорим ли мы о классическом ортодоксальном понимании этого термина, какого придерживаются сторонники «Мурабитун», или же об идеологии современных *ихванитов* или *салафитов*, которые сами себя, вне всякого сомнения, идентифицируют как суннитов. В любом случае представление о «золотом веке ислама» существует у всех них: у идеолога «Братьев-мусульман» Сейида Кутба в его книге «Вехи на пути» даже есть глава под названием «Уникальное кораническое поколение». Что уже говорить о *салафитах* с их слепым культом сподвижников, который, положив руку на сердце, присущ суннизму в целом, просто достигая апогея в его *салафитском* варианте? Доктрина о «благочестивых поколениях», о том, что «сподвижники Пророка (ДБАР) подобны звездам», целиком и полностью присуща суннитскому вероучению во всех его вариациях. И она обладает всеми признаками правого, традиционалистского мифа о «золотом веке».

Другое дело, что, как говорил имам ‘Али ибн Аби Талиб (мир ему): «Большая часть того, что слышат ваши уши — ложь, но то, что видят ваши глаза — это истина». Факты из мусульманской истории свидетельствуют не только о серьезных противоречиях между рядом сподвижников, но и о войнах между ними. Информация по истории раннего ислама в настоящее время становится все более доступной, и она подкашивает основы мифа о золотом веке, равно как и подрывает убежденность, что выдаваемое за ортодоксальный ислам является именно тем, что принес мусульманам и всему человечеству пророк Мухаммад (ДБАР).

В любом случае ценность «Мурабитун» — движения, безусловно, как интеллектуального, так и аутентичного ортодоксальному суннитскому вероучению и праву — в том, что оно являет собой направление *ахль ас-сунна ва-ль-джама’а* в его логически завершенном, аутентичном, ортодоксальном виде. И даже краткий обзор его теологической и политической платформы показал, что оно не является неуязвимым для критики или по крайней мере заставляет человека задавать вопросы, а не удовлетворяться тем, что *мурабитун* несут мусульманам в качестве, как им кажется, непреложной истины и «подлинного понимания ислама». Несмотря на то, что сторонники «Мурабитун» ставят своей целью укрепление традиционного ортодоксального суннизма в России, эффект от их деятельности может стать прямо противоположным. Вместе с тем критика ортодоксального суннизма, как он есть, будет способствовать развитию исламской богословской, философской, правовой мысли в России, ее выходу за пределы шаблонных формул и установленных стандартов.

В статье были использованы материалы интернет-сообщества «Мурабитун» в России (www.sunnizm.blogspot.com), книги Вадима Сидорова «Между викингом и скифом», портала www.al-islam.org и «Шийтской антологии» Мухаммада Хусейна Табатаба’и.

«МЫ НЕ ФАШИСТЫ, МЫ — СУФИИ»

Интервью с лидером движения «Мурабитун» в России Харуном Сидоровым

— Что такое «Мурабитун»?

— Прежде всего надо отметить, что «Мурабитун» не является современной политической партией или движением, подобным «Братьям-мусульманам» или «Хизб ат-Тахрир». «Мурабитун» — это социальный феномен, глубоко укорененный в истории исламского Магриба, общеизвестный и почитаемый, особенно в Марокко, где он пустил самые прочные корни. Больше того, Магриб в принципе нельзя представить себе без «Мурабитун».

Существует очень важный хадис, который гласит: «В Магрибе всегда будет группа из моей уммы, которая будет стоять на пути правды вплоть до Судного дня».

Мы считаем, что путь правды, или путь сунны, — это в первую очередь, конечно, мединский путь, то есть путь коллективной практики Мединской общины Пророка, мир ему и молитва, его сахабов и поколений их последователей. Именно они наиболее целостно практиковали исламский социальный паттерн как община в Медине. Это позиция маликитов, но, кстати, не только их. В частности, ханбалитский ученый Ибн Таймийя доказывал превосходство этого пути в следовании сунне в своей книге «Путь Медины», к сожалению, малоизвестной.

Так вот, после того как благородная традиция Медины стала разрушаться сперва под напором 'Аббасидской смуты, а потом носители Мединской традиции, маликитские улемы Шама стали истребляться и выдавливались шиитской династией Фатимидов, именно Магриб стал прибежищем суннитских мухаджиров со всего исламского мира. Крайний Запад — Андалусия — был единственным местом, где сохранилась легитимная исламская власть, но и на южном побережье Средиземноморья происходили очень важные процессы — в тяжелой, но успешной борьбе с шиитами и хариджитами Магриб постепенно становился чисто суннитским. При этом именно Магриб стал центром притяжения Ахль Бейт — потомков Пророка, мир ему, которые бежали в него от смуты из многих исламских земель. Как следствие этого — наверное, самая высокая концентрация Ахль Бейт в этих землях, их особое положение и почитание в магрибинском обществе, закрепленное институтом шарифов.

Что такое «Мурабитун»? Мы исходим из того, что мединская модель целостного ислама постоянно воспроизводит себя на протяжении истории уммы, как это обещано в хадисе, где сказано, что в каждую эпоху у этой общины будет обновитель религии. «Мурабитун» стал политическим и цивилизационным оформлением этих процессов. В IV в. по хиджре с носителями сохранившейся в Магрибе мединской традиции, выдающимися улемами того времени, встретился возвращавшийся из хаджжа вождь одного из североафриканских племен Яхья ибн Ибрахим. Преображенный их учением и опираясь на их поддержку, он стал отбирать из своего и соседних племен искренних молодых людей, собирая их в *рибаты* — аскетические религиозные обители, где они практиковали зикр, приобретали шариатские знания и обучались военному делу. В течение одного поколения эти рибаты стали орудием стремительной исламизации

на огромных территориях Северной Африки, а затем и в Андалусии, где они вдохнули второе дыхание в ее исламскую жизнь. Воспитанники этих рибатов и стали известны под названием «Мурабитун». Несмотря на взлеты и падения различных мурабитуновских движений, этот феномен впоследствии не исчез, а пустил устойчивые корни в Северной Африке, где вновь и вновь создаваемые рибаты и мурабитунизм как движение стали важной частью ее социальной действительности.

Именно суфийские обители — рибаты — были ударной силой антиколониальной борьбы против французских оккупантов. Современный «Мурабитун», о котором мы говорим, является законным, что называется — по крови, носителем всех этих линий: и мединской — через преемственность ученых маликитского мазхаба и суфизма, каким был шейх нашего шейха Мухаммад ибн Хаббиб, и мурабитуновской социальной модели, которую лидеры нашего движения практиковали в рибатах-завиях Марокко, и даже политической, так как именно Даркавийский тарикат при жизни Мухаммада ибн Хаббиба и его учителей был одним из столпов стихийного исламского антиколониального движения.

Хочу особо подчеркнуть, что европейские корни шейха 'Абдулькадыра ас-Суфи и большинства его соратников по «Мурабитун» наших дней абсолютно не выводят его из этого ряда. «Мурабитун» — это феномен исламского Запада, в том числе такого уникального явления, как исламская Андалусия, которая была не чисто арабским регионом, а космополитическим сплавом арабов, вандалов и романцев, возродившим на исламской основе универсалистские традиции Средиземноморья. Кстати, с миссией проповеди в Европу из марокканской завии послал нашего шейха, тогда своего муккадиму, марокканский ученый и шейх Мухаммад ибн Хаббиб.

— В чем в таком случае заключается смысл «Мурабитун» и какие задачи он перед собой ставит?

— Еще раз повторю, что «Мурабитун» не является политическим движением в современном смысле этого слова, — у него нет программы, руководящих органов, отделов или комитетов, нет какой-то особой своей символики. Поэтому можно сказать, что «Мурабитун» — это движение не в структурно-политическом, а в прямом, буквальном смысле этого слова. Движение — это очень важная составляющая суфийского духовного пути. Один из предшествовавших шейхов нашего тариката даже оставил нам *ду'а*, которое очень часто приводит на встречах своих муридov наш шейх: «О, Аллах, сделай меня постоянно находящимся в движении».

Суфии всегда находились в движении, причем, не только как отдельные, изолированные индивиды, как это понимается сегодня, но и как социальная группа. Их жизнь состояла из постоянных визитов к шейхам, могилам аулия, посещения своих братьев, максимально возможного общения с праведниками и учеными. Этот интенсивный духовный опыт сочетался с непрерывным заработком себе на жизнь — важно подчеркнуть — халяльным способом, как правило, посредством торговли. Человек мог отправиться в путешествие с целью посещения шейха, ученого или просто братьев-фукара', и это сочеталось с совершением им выгодной торговой операции. Это совершенно особое экзистенциальное качество жизни, причем, не *дауншифтинг*, как это имеет место в наши дни, не бегство от реальности, но особая социальная реальность. Эта реальность предполагала наличие целого ряда институтов, как общеисламских — таких как открытые рынки, караваны, гильдии, кирааты и ширкаты, так и суфийских, но тоже имеющих социальное измерение — таких как завии, рибаты.

«Мурабитун» — это суфийское движение. Его ядром являются люди, которые стремятся вести и многие уже десятилетиями ведут полноценный суфийский образ жизни. Однако в условиях, когда разрушен исламский социальный паттерн, соци-

альные институты ислама, это практически невозможно, по крайней мере для большинства.

Даже в вопросе добывания своего *ризка* (средств на жизнь) — в обществе абсолютного господства рыбы, в условиях капитализма — возможности добывать пропитание, крышу над головой, необходимые материальные блага, минуя рыбу, почти отсутствуют. А ведь рыба может сделать тщетными все благие дела мусульманина, лишит его имущество и жизнь *бараки*.

Тарикат — духовный путь — начинается с соблюдения шариата. Не может быть полноценной духовной жизни, если у суфия нет возможности прежде всего соблюдать шариат. Рыба — это только один, очень важный, вопрос, но в целом — религия, жизнь, честь и имущество мусульманина не могут быть защищены без шариата. А шариат, в свою очередь, невозможен без исламской власти. Исламская личность — исламское общество — исламская власть — это не политический лозунг, это то, что нам нужно, чтобы искать одобрения Аллаха. И суфиев, ставящих перед собой планку духовных требований наиболее высоко, это должно касаться в первую очередь, поэтому и великие суфийские шейхи и муриды, такие как шейх Даркави или имам Раббани, посвящали огромную часть своей жизни борьбе за шариат и шариатский порядок в обществе.

Наши сообщества объединены единым духовным заданием — *вирдом*, практикуют одни и те же формы *зикра*. Это то, что присуще нам как тарикату. Но при этом наш шейх говорит: вы не можете говорить о зикре, если вы не платите закят, потому что это третий столп ислама, но вы не можете платить закят, если у вас нет *амира*. У вас не может быть полноценной *джумы*, если у вас нет *амира*. Вы не можете выполнять огромное множество возложенных на вас шариатских предписаний и пользоваться своими шариатскими правами, если у вас нет *амира*, если вы не в *джамаате*. Только *джамаат* может пытаться противостоять сегодня *рибе*, работать над возрождением исламской валюты, исламских торговых и финансовых институтов. Это невозможно не только на индивидуальном, но даже на национальном уровне, поэтому в этой работе должны сложить свои усилия разделяющие эти цели *джамааты*. И это одно из ключевых направлений деятельности «Мурабитун» в мировом масштабе, на поприще которого мы сотрудничаем с самым широким диапазоном сил.

— «Мурабитун» широко известен своими радикальными экономическими идеями по упразднению капиталистической системы и возрождению исламской экономики, в частности — золотого динара. Однако многие, в том числе исламские, экономисты считают ваши идеи откровенной утопией. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Хочу сказать, что у подавляющего большинства людей, считающих нас утопистами или идеалистами, существует абсолютно превратное понимание наших экономических воззрений. Основная проблема в том, что экономические воззрения «Мурабитун» воспринимаются в отрыве от его социального мировоззрения, которое находится в тесной связи с реальностью таухида и проблемой отношения человека к бытию.

Надо быть совершенно неадекватным человеком, чтобы верить в возможность установить надстройку в виде исламских экономических порядков и институтов, особенно в их подлинном виде, на совершенно чуждом для этого цивилизационном, я бы даже сказал, антропологическом, базисе. То же самое, кстати, касается и проблемы построения исламского государства на базе современной цивилизации, за что ратуют самые разные силы от хизбуттагрировцев до ихвановцев и джихадистов. Как раз это и есть утопии — экономические и политические.

Исламские движения сегодня в лучшем случае в своей деятельности ориентируются на позиции исламских ученых в области хадиса или фикха — чисто религиозных знаний. «Мурабитун» также имеет своих ученых фикха и студентов шариатского знания, поддерживает тесные отношения со многими крупными улемами современности. Но при том, что мы владеем наследием западной гуманитарной мысли, в своем понимании социальных и исторических проблем мы еще уделяем особое внимание концепции и методологии Ибн Халдуна. Кроме того, что это был выдающийся ученый в области шариатских наук, кади, исследователь хадисов, он был потрясающим по широте своего мышления социологом, социальным и политическим философом. Таким образом, его видение тех или иных вопросов имело шариатскую основу, но при этом не было зашорено чисто фикховыми штампами, а глубоко проработано через призму социального анализа.

Мы, вслед за Ибн Халдуном, исходим из циклической логики развития человека, общества, цивилизации. И для каждого такого цикла характерны свои характеристики, как духовные и политические, так и экономические и социальные.

Капиталистическая технократическая цивилизация — это изжившая себя, агонизирующая и источающая зловоние форма бытия, если его вообще можно так назвать. Мы убеждены в том, что когда эта цивилизация окончательно обанкротится, на новой здоровой основе, из здоровых людей, практикующих между собой естественный социальный паттерн, родятся сперва — общество, а потом и цивилизация, несущие человечеству обновление и продолжение истории. Поэтому не может идти и речи об утопиях, ведь утописты верят в достижение статичного идеала, будь то «конец истории» или предысторический «золотой век»; мы же исходим из того, что история, как и все мироздание находится в постоянном движении, где друг друга — вплоть до наступления предписанного Аллахом конца света — сменяют подъемы и упадки.

Выбор, который стоит перед человечеством в обозримом будущем, невелик. Это либо конец истории, либо ее продолжение. В последнем случае запустится новый виток цивилизационного развития. Внутри исламской уммы он может произойти только при посредстве людей особого качества, победоносной группы, которые — по определению — должны будут практиковать экономические, социальные и политические отношения, естественные для молодого, обновленного, здорового общества. Никакой утопии здесь нет, утопией было бы считать, что здоровые отношения могут существовать среди больных людей в больном обществе. Но также было бы абсурдом считать, что здоровые человек и общество будут жить по нормам и отношениям выродившейся цивилизации или идти с ними на компромисс. Сегодня своей работой на поприще экономических исследований и проектов мы всего лишь создаем предпосылки для социальной реальности грядущего, но, чтобы она состоялась, должен возникнуть пригодный для нее человек, как на уровне личности, так и на уровне социального типа. И для него то, о чем мы говорим, будет не утопией, а естественной потребностью.

— Вы согласны с характеристикой «Мурабитун» как правого, фашистского, монархического движения?

— Начну с фашизма, потому что людей, как правило, этот вопрос волнует больше всего. У этой проблемы есть два аспекта. С одной стороны, многие наши противники вкладывают в понятие «фашизм» слишком позитивное для нас содержание, чтобы мы могли не поддаваться соблазну принять на себя это обвинение. Для этой категории людей, в головы которых прочно вбиты либеральные и левацкие химеры, мы, наверное, всегда будем фашистами, что бы мы ни говорили и ни думали о фашизме на самом деле.

Долгое время мы исходили из того, что оправдываться перед критиками и врагами — бесполезное дело, и с некоторым вызовом и элементом интеллектуальной провокации могли позиционировать себя как «исламофашистов».

Сейчас я хочу сказать, что этот этап мы решительно оставляем в прошлом. И не потому, что мы хотим быть белыми и пушистыми и всем нравиться. Причина этого заключается в том, что, когда мы пришли в «Мурабитун» в 2008 г., мы пришли со своими сформировавшимися идейными установками и не до конца осознавали социальный паттерн «Мурабитун» и сущность мединской модели, модели суфийского салафизма, в их полноте. Их понимание пришло по мере как ознакомления со многими работами шейха Абдулькадыра ас-Суфи, так и с погружением в живую среду «Мурабитун», с обменом опытом с различными его сообществами, особенно его ветеранами.

Недавно я написал об этом работу «Прощание с фашизмом», где обосновал, что нам не по пути с фашизмом не по тактическим, а по принципиальным соображениям. Фашизм был реакционным движением, безнадежной попыткой спасти традиционные ценности старой цивилизации от натиска технократического общества. Единственным способом решения этой задачи было создание тоталитарного государства. Мы исходим из принципиально иной посылки. Навязывать искусственным путем здоровые ценности больному обществу — безнадежное дело. Здоровое общество может быть создано только естественным путем по мединской модели, и ему не нужно тоталитарное структуралистское государство. Речь идет об общине, находящейся в динамических отношениях с реальностью на всех уровнях, — эта модель присутствовала в воззрениях раннего фашизма, но в результате он пошел по другому пути, так как не имел ни истинной духовной основы, ни правильной методологии.

У нас они есть. Поэтому я совершенно искренне говорю: мы не фашисты, мы — суфии.

Что касается правого или левого, то для нас это деление уже давно утратило актуальность. Ради Бога, нас можно считать сколько угодно правыми, но с таким же успехом, как и фашистские, в нашей модели можно находить и либертарианские, и даже анархо-синдикалистские элементы. Не меньше, чем выходцев из правого фланга, у нас выходцев и из левого движения — бывших марксистов, социалистов, анархистов и даже хиппи. Мексиканское сообщество «Мурабитун» имеет хорошие контакты с самым, что ни на есть, левым сапаратистским движением, хотя у его истоков стояли бывшие испанские фашисты. Это лучшая иллюстрация того, что деление на правое–левое утратило для нас свою актуальность.

В отношении монархизма тоже надо внести ясность. Мы согласны с позицией тех мыслителей, например — того же Ибн Халдуна, которые считают, что сформировавшееся общество для своего устойчивого существования и воспроизводства требует единоличного правления, передающегося наследственным путем. В этом смысле мы уверены, что монархия является наиболее естественной формой правления для здорового, сформировавшегося общества. Однако сегодня на повестке дня не то, как основать подобное правление для такого общества, а то, как создать само это общество. А это уже не задача *султанши*, а задача *асабии* — в том смысле, который вкладывал в это понятие Ибн Халдун.

Наша задача сегодня заключается в создании жизнеспособной общности людей, способных практиковать и воспроизводить целостный исламский социальный паттерн. Сегодня подобная общность может формироваться только на основе добровольного притяжения друг к другу людей, объединенных присягой выдвинутому из них же самим лидеру. Поэтому на стадии асабии лидерство имеет не династический, а харизматический характер. Монархия же актуальна тогда, когда уже есть что наследовать. Задача нашего поколения — создать это.

— Скажите, почему вы занимаете такую радикальную позицию в отношении шиитов? Ведь они приводят доводы в пользу своих суждений, в том числе из суннитских источников, да и среди самих суннитов нет единства по таким вопросам, как отношение к Муавии, Омейядской династии и так далее.

— Хочу сказать, что градус нашей враждебности к шиитам находится в прямой зависимости от попыток их вмешательства во внутрисламские дела и искажения нашей религии. То есть, конечно, нельзя сказать, что мы не имеем ничего против самого факта существования шиизма, равно как и против существования любого другого *куфра*. Однако Аллах говорит в Коране, что если бы Он хотел сделать людей единой общиной, Он бы сделал это, и также сказано, что нет принуждения в вере, когда уже ясно отличился ясный путь от заблуждения. Поэтому, коли уж так получилось, что у шиитов есть свое государство в лице Ирана, то было бы хорошо, если бы Иран позволил мусульманам-суннитам сделать хиджру из него, потому что шариат запрещает мусульманам жить под властью тех, кто оскорбляет *сахабов*. В свою очередь, мусульманские страны могли бы содействовать переселению шиитских меньшинств в Иран, и тогда с ним можно было бы строить прагматические отношения на межгосударственной основе без оглядки на идеологический антагонизм.

Что касается второй части вашего вопроса, хочу сказать, что категорически недопустимо ставить разногласия между исламскими учеными на одну доску с аргументацией шиитов. Спорить всерьез с шиитами о нашей религии, позволяя им апеллировать к нашим источникам, — это абсолютно то же самое, что вступать в полемику с любыми антиисламскими миссионерами. Все они, включая Сысоева, Максимова и прочих, точно так же апеллируют к нашим источникам. Так почему же мы не признаем их доводов? Да потому, что они, обращаясь к ним, видят в них не то, что исламские ученые — наследники пророческого знания, а интерпретируют их на свой лад, выдергивают их из контекста, принимают одни источники и отвергают другие, и так далее.

Мы не можем спорить с шиитами о нашей религии, даже когда они апеллируют к нашим источникам, потому что они признают наши источники только тогда, когда это согласуется с их позицией. Но самое главное — это то, что они не признают методологию мусульманской общины в понимании этих источников, а, напротив, руководствуются своими источниками, которые не признаем мы, но которые приоритетны для них, и применяют свою методологию, через призму которой они рассматривают наши источники, пытаются выхватить из их контекста то, что им выгодно. Самое главное — это то, что они это прекрасно знают, но вновь и вновь прибегают ко лжи под видом объективности с целью дезориентировать неискушенных мусульман и разрушить нашу религию.

Что касается причин нашей категоричности по отношению к шиитам, то их надо искать в самых основах. Как говорил Ибн Таймийя, когда мусульманская община оказывается в кризисе, необходимо начинать с самого начала, возвращаться к истокам.

Для нас, маликитов, исток — это Мединская община. Если мы признаем Мединскую общину, значит, мы признаем торжество посланнической миссии нашего господина Мухаммада, мир ему и молитва, признаем, что он оставил после себя вверенную ему религию не в виде книг и не в виде отдельных людей, как пытаются представить еретики, а в виде своей общины, являющейся олицетворением торжества ислама и его земным воплощением. Несмотря на то, что со времен *сахабов* исламские ученые начинали разбредаться по новым землям ислама, где возникали разные школы, среди ученых сунны и мусульманской общины было абсолютно очевидно превосходство Медины, ибо в ней жили не отдельные *сахабы*, а целостная пророческая община, вос-

производившая неискаженное понимание религии из поколения в поколение в закрытой среде. Поэтому ученые со всего халифата ездили в Медину, чтобы сверять вызывающие у них сомнения позиции с практикой жителей Медины, т.е. с мединским мазхабом, который позже оформился в виде маликитского.

Мы должны понять, что такое Амаль Салафов Медины, ибо это ключ к пониманию многих проблем. Мы утверждаем, что ислам в его полноте и неискаженном виде был кровью и плотью этих людей и основой их существования как общины. Поэтому им в принципе была не нужна письменная фиксация и систематизация источников и отраслей знания, которая произошла после распространения ислама на новые земли. То, что такие попытки имели место, не меняет дела, так как мы говорим именно об общине, которая пришла к единому согласованному мнению, оформлявшемуся в ее социальной практике. Практика этих людей после смерти Пророка, мир ему, для нас и есть — сунны.

Теперь давайте посмотрим на происхождение шиизма. Шииты выводят его из своего якобы следования Ахль Бейт, но почему надо верить им, а не нам, суннитам, если мы тоже считаем себя следующими и любящими семью и потомков Пророка, мир ему? Лучший способ понять шиизм, это посмотреть, где он возникает. Возникает ли он в Медине, является ли он направлением внутри Мединской общины? Ни в коем случае. Шиизм возникает в Куфе среди людей, не обладавших целостным пониманием ислама, но пытавшихся оспорить верховенство Медины. Еще раз повторю: шиизма не было в Медине, он не получил там никакого развития, но зато пышным цветом расцвел среди куфийцев, став источником великой смуты не только для всей мусульманской общины, но и конкретно для Ахль Бейт.

Последователи Мединской традиции прекрасно понимали сущность шиизма даже тогда, когда в других школах поддерживали какие-то иллюзии или компромиссные позиции на сей счет. Поэтому шиитская династия Фатимидов жестоко репрессировала именно маликитских ученых, по сути, очистила от них Египет, сумев использовать в этих целях недалековидных представителей других мазхабов. О каком суннитско-шиитском братстве может идти речь, если каждый раз, получая в свои руки власть, шииты беспощадно расправлялись с настоящими суннитами, как это было при Фатимидах, как это было при Сефевидах и как это происходит в современном Иране?

Шиизм — это вызов нашей религии, отрицание ее базовых ценностей. Если принять его логику, надо признать пророка Мухаммада, мир ему, не совершенным учителем и лидером, успешно воспитавшим общину своих последователей и вверившим свое дело в руки преданных учеников, а, прости Господи, банкротом и неудачником! Утверждая, что под конец жизни Пророка, мир ему, его предали почти все соратники, а также его жена 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, еретики, по сути, делают милость для миров аналогом униженного безбожника Ульянова-Ленина, потерпевшего фиаско под конец жизни, когда, беспомощный, он был блокирован в Горках и предан своими соратниками. Воистину, утверждать подобное в отношении Пророка, мир ему, его сахабов и жен — это великое неверие и отрицание самой сути нашей религии, второй части шахады — Мухаммадан расулю Ллах.

Сегодня, как и все четырнадцать веков с момента начала куфийской смуты, между общиной сунны, особенно той ее частью, которая периодически обновляет мединскую традицию, с одной стороны, и шиитами — с другой, идет непрекращающееся противоборство. Идеологическим проявлением этого противоборства являются попытки использовать искусственно раздутые противоречия внутри исламской общины на почве трактовки источников для обоснования сперва законности шиизма как одной из исламских школ, а потом и ее правоты и превосходства над суннизмом, лишив-

шимся целостности и обезоруженным перед внутренне последовательным оппонентом. Политическим же результатом этой деятельности должен стать захват шиитами власти над исламской уммой. Таким образом, если мы, сунниты, стремимся к повторению сценария Медины, то они, шииты, стремятся к повторению сценария Фатимидов, что предопределяет наши взаимоотношения с ними.

Сказанного по этому вопросу достаточно, однако я хочу поставить здесь последнюю точку над *i*. Среди традиционных суннитских ученых действительно были разногласия по отношению к шиитам. Но эти разногласия сводились к тому, считать ли неверными их всех или только часть из них. В итоге срединной можно считать позицию имама аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, который сказал, что шииты — заблудшие, а их ученые — неверные. То есть можно действительно не утверждать, что каждый конкретный шиит является неверным, особенно, если это этнические шииты. Однако верно то, что, чем более настоящим и последовательным является конкретный шиит, тем ближе он к *куфру*. Само же учение шиизма, безусловно, является куфром, поэтому любой, считающий себя суннитом, обязан ограждать от его влияния мусульманскую общину.

— **Напоследок, что бы вы хотели пожелать читателем нашего журнала?**

— Я хочу пожелать им и всем нам, чтобы ислам был всей их жизнью, а не интеллектуальным хобби. Великий ариф Хасан аль-Басри сказал о времени, когда на смену пониманию ислама сахабами и табиинами стало приходиться книжное знание: «Ислам в книгах, мусульмане в могилах». Можно понимать это высказывание в том смысле, что ислам остался лишь в книгах, потому что настоящие мусульмане оказались в могилах. Но если вдуматься, можно понять, что верно и обратное: когда ислам низводился до уровня книг, или, скажем, Интернета, т.е. так или иначе сводится к голой информации, дискурса, — исчезают настоящие мусульмане. Хочу пожелать нам всем, чтобы ислам для нас был не дискурсом и предметом бесполезных дискуссий, а нашей жизнью, *'ибадатом* и *муамалатом*.

Беседовал Александр Казаков ==

Дуновение дружбы



ПЕРО ПАВЛИНА

Али Мухиэддин*

В далеком царстве, в далеком государстве, за тридевять земель жил-был эмир Надир, наживший много добра и знаний за свою жизнь. Он был правителем племени, кочевавшего от одной стоянки к другой в поисках пастбищ для своего обильного скота. Он был добр сердцем, щедр, умен и славился своим гостеприимством. Был у него большой шатер, где встречал гостей, для которых частенько закалывал лучших своих овец и баранов. Эмир был богат и умело руководил делами своего племени, разрешая споры и конфликты и наладив дружественные отношения с окружающими племенами благодаря своим дипломатическим способностям.

Для него мир представлял одно большое поле, в котором все люди разумны и честолобивы. Все, казалось, у него есть, но только не было у него на душе покоя. Каждую ночь он выходил из своего шатра и уединялся то в пустыне, то на высоком холме и разглядывал звезды, словно ожидал чего-то. Несмотря на улыбку, глаза его были полны какой-то странной печали, но никто не знал, о чем он грустит.

Вероятно, он бы ответил на вопрос о причине своей грусти, если бы знал на него ответ, но он не знал. Он часто ночью сидел в пустыне и раскладывал на песке камешки в том порядке, в котором он видел звезды. Когда он это делал, в груди его появлялось какое-то странное чувство уединенности и беспечности, которое его всегда посещало как-то само собой.

В одну из ночей он исчез из племени, и никто не знал, куда он пропал. В племени на следующее утро засуетились и стали искать эмира, но не нашли. А пустыня ведь опасна! Хотя Надир и умел ориентироваться по звездам, но она таила в себе множество опасностей — была полна бандитов и диких зверей. Прошел день, другой, третий, а эмира все нет... Прошел месяц, 40 дней... и вот племя собралось и решило избрать себе нового эмира, который мог бы заменить Надира, хотя все знали, что такого не сыскать...

Долго племя пыталось выбрать себе эмира, но каждый раз возникали противоречия. Двоюродный брат эмира, Саид, и дядя эмира, Касим, не уступали никак друг другу. Разногласия переросли в открытое противостояние, пока наконец Саид не взял верх и не приказал Касиму покинуть племя. Такое решение явно противоречило правилам племени и привело к недовольству людей. Окружив себя бандой приспешников, Саид быстро заставил членов племени принять его власть как данное.

Прошло полгода с тех пор, как эмир Надир исчез. Саид окружил себя друзьями, которые не чтит ни седых стариков, ни беременных матерей. Он приказал соорудить

* Мухиэддин Али Фуадович (р. 1985). Окончил Восточный факультет СПбГУ со степенью бакалавра в 2006 г., в 2008 г. окончил магистратуру факультета МО МГИМО по направлению «Регионоведение». В настоящее время является аспирантом Восточного факультета СПбГУ. Эксперт по политическим процессам на Ближнем Востоке. Является основателем и одним из руководителей поэтического клуба БОЛТ в Санкт-Петербурге.

себе шатер, где поместил гарем из тех девушек, которых он насильно приводил, не спрашивая ни их согласия, ни согласия их родителей. Несколько раз молодые ребята, не желавшие мириться с положением дел, восставали против Саида, но он их жестко подавлял и даже нескольких прилюдно казнил на глазах у их родителей. Страх и злоба поселились в племени, и люди стали молить Бога о том, чтобы поскорее вернулся эмир Надир.

Надир все не приходил, но пришел неожиданно в племя путник, заблудившийся в пути. Его пытались уговорить уйти поскорее из племени, где царствует корыстный и злостный эмир Саид. Но пожилой путник с седой как снег бородой не пожелал уйти и решил направиться к эмиру просить у него разрешения остаться в племени на некоторое время. Его спрашивали: «Зачем тебе это? Мы дадим тебе хлеба и воды, покажем дорогу». Но странный путник на странном наречии отвечал: «Кто боится увидеть зло, тот не сумеет его преодолеть. Раз я попал сюда, то по воле Аллаха! А что я по сравнению с Ним?». И люди дивились его словам, не понимая его.

Путник вошел в шатер Саида и представился: «Мир тебе, уважаемый эмир! Я путник, заблудившийся в пути! Позволь мне остаться в твоём племени на время, я могу работать у тебя за кусок хлеба!» Саид рассмотрел путника с головы до ног и спросил: «А что ты умеешь делать?». Путник посмотрел пристально на него и ответил: «Могу кормить твоих лошадей!» Саид почесал свой выпуклый живот и спросил: «Как зовут-то тебя?» «Можешь звать Тариком», — ответил путник и наклонил голову. Саид потянулся на месте и, зевая, сказал: «Ну, как тут не помочь путнику! Аллах милостив! Валид! Проведи Тарика в конюшню и покажи ему, что и как».

Тарик стал кормить лошадей. У Валида он поинтересовался, на какой лошади ездит сам эмир Саид, и тот ему указал на белую лошадь. Старик Тарик посмеялся в свою седую бороду, увидев лошадь, которую Саид выбрал себе в качестве любимой. Путник стал кормить лошадей, добавляя побольше корма лошади Саида, которая становилась резвей и сильнее. Другие лошади тоже стали крепче, словно это скакуны самого эмира правозверных! Даже вороной конь Надира, бесившийся от горя после пропажи хозяина, успокоился. Саиду понравилась работа Тарика, и он позвал его к себе.

Тарик пришел к Саиду, и тот в знак своей благосклонности повелел повару выдавать хорошему работнику двойную порцию пищи. Тарик поблагодарил, но тут же добавил:

— О, справедливый эмир! Не вели казнить, но вели говорить!

— Что такое? — спросил Саид. — Мало двойного пайка?

— Нет, спасибо Аллаху и за это! Я про твою лошадь. Все в ней хорошо, но есть один недостаток!

Эти слова явно не понравились эмиру, и он с раздражением спросил:

— Что за недостаток может быть у моей лошади! Я за нее отдал целых пятнадцать овец!

— Чистокровные лошади при виде чужака начинают недовольно ржать, а твоя хвостом машет. Это повадки не чистокровных арабских скакунов, а ослов!

Разгневанный эмир вызвал тут же слугу Валида и велел узнать родословную лошади у торговца, у которого он ее приобрел. Через некоторое время слуга возвратился и произнес:

— О эмир! Сначала торговец не хотел мне говорить ее родословную, и мне пришлось пригрозить ему расправой! Испугавшись, он выложил все: это, действительно, мул! Она родилась от осла!

Погрустневший Саид, потирая свой живот, сказал Тарику, не глядя даже в его сторону:

— Твое счастье, что ты оказался прав! Иначе бы не сносить тебе головы!

Прошло еще некоторое время, и эмир Саид нашел Тарику еще одно занятие — кормить подаренного ему индийского павлина. Седой старик стал кормить и павлина, распускающего свой красивый и пышный хвост.

Однажды Саид стоял и любовался павлином, когда Тарик его кормил.

— Ну как тебе павлин? Красавчик? Не правда ли? — спросил Саид у старика.

— Да, красивая птица!

— Настоящий индийский павлин!

— Хороша эта птица и красива, но есть у нее один недостаток... — почти шепотом произнес Тарик.

— Хочешь пошутить надо мной, старик? И так мне пришлось менять лошадь из-за тебя! Не может же эмир на муле разъезжать!

— Я не шучу, милостивый эмир! Вели говорить и не вели казнить!

— Ну говори! — насторожился эмир Саид, прищурился и поглаживая свой живот, свисавший из-за ремня.

— Все в этом павлине красиво, но есть один недостаток... Когда он ходит, то наклоняет головку и клюет землю. Это не повадки павлина, так ведут себя куры!

— Что за чепуху ты говоришь? Неужели и павлины теперь куриц топчут? Или павлинши от петухов яйца несут? — засмеялся Саид и похлопал старика по плечу, неожиданно ощутив под рубахой крепкую мускулистую руку.

— О, господин! Я бы все же разузнал!

Эмир Саид позвал слугу Валида и велел ему разузнать всеми правдами и неправдами все, что можно узнать об этом павлине. Вскоре Валид вернулся и, понурился, заговорил:

— О, эмир, мой милостивый господин! Я побывал у шейха Язида, который подарил тебе павлина. Но его не было, и слава Аллаху, что не было, я же не мог у него спросить о том, что общего у этого павлина с курицей!

— Не медли! Говори! Ты что-нибудь узнал о павлине? — спросил встревоженно Саид, наблюдая за тем, как пальцы Валида нервно бегают по поясу.

— Да, узнал. Но чтобы узнать, мне пришлось проникнуть тайно в шатер, где Язид держит своих павлинов. Их там целых 108 штук!

— Мой был 109-м? — ехидно заметил Саид.

— В том то и дело, что нет! Я расспросил у птицевода, который кормит павлинов, о твоём павлине. И он ответил, что шейх Язид не брал из шатра павлинов ни одной птицы уже несколько месяцев!

— Так может у него есть другой шатер, где еще двести штук!

— В том то и дело, что нет. По крайней мере в том лагере. Хотя говорят, что есть у него другие шатры с павлинами, но они далеко, и синих птиц оттуда никто в наши края не привозил!

— Так откуда же взялся этот павлин! О, Аллах! Что за глупых слуг ты мне послал! — воскликнул Саид в явном приступе злости, который он все-таки погасил, желая узнать все, что выведал Валид.

— Я вышел из шатра и стал расспрашивать у людей, есть ли у шейха Язида другой шатер с павлинами в наших краях. Никто ничего не знает. Но один добрый чело-

век указал мне на один из шатров, где располагается кухня. Он мне сказал, что видел какую-то странную птицу там, а павлинов он вообще в глаза никогда не видел. Я и подумал, что он говорит о павлине!

— Ну же! Ближе к делу! — нетерпеливо воскликнул эмир Саид, откусывая от жареной куриной ножки за трапезой, расположенной прямо на полу, как это водится у бедуинов. Валид стоял рядом, не смея присесть, так как боялся гнева своего эмира.

— В общем, я пришел туда, а там, действительно, кухня, и много женщин готовят лепешки с курицей для каких-то торжеств. Я не стал подходить к женщинам, чтобы не обвинили меня в домогательстве, и стал громко звать кого-нибудь из мужчин. Долго никто не откликался. Затем из-за шатра вышел старик, очень пожилой старик и позвал к себе в шатер. Я вошел туда, а там столько кур, что не счесть! Куры, куры, куры! И яиц там тьма! Столько яиц я не видел в жизни! А кур этих растят и прямо за стеной шатра, в соседней комнате, их убивают. Только и успевай произносить: «Бисми-л-Лях ар-Рахман ар-Рахим!» Я стал спрашивать старика о павлине, а он мне отвечает, что, мол, да, было тут одно яйцо, из которого вылупился павлин...

— И?... Старый мог перепутать все!

— Вот и я подумал о том же! Но он позвал молодого парня, который куриц за стенкой, как кузнец железо кует, убивал. Все руки и одежда у него в куриной крови. Вот он и говорит, что да, павлин тут был и вылупился из яйца. Его высидела курица, а потом он рос вместе с цыплятами. Он сказал, что и его хотел пустить под нож, чтобы перья своей жене подарить, но пришел слуга шейха Язида и запретил убивать павлина. Он говорит, что шейх Язид вообще запрещает убивать павлинов! Я стал спрашивать, что и как, притворился, что тебя, мой эмир, не знаю, а интересуюсь всем, так как пишу летопись и составляю перечень диковинных вещей и интересных фактов!

— Не о твоих дурацких рукописях сейчас говорим, болван! Говори же! — нервно, с досадой проговорил Саид, проглатывая кусок куриного мяса.

— Так вот, он мне сказал, но попросил никому не говорить...

— А я тебя, глупец, зачем посылал! Чтобы ты мне все рассказал!

— Так вот, он сказал, что шейх Язид отвез этого павлина в подарок одному эмиру, который вроде как не эмир, и он говорил, что везет ему павлина, вроде как не павлина, и что каждое перышко у него — это один день оставшейся эмиру жизни. Сколько перьев у павлина в хвосте — столько и дней проживет эмир после того, как получит птицу в подарок!

— О, Аллах! Что за колдовство такое! Неси павлина сюда быстрее и этого старика... как его там...

— Тарика!

— Да, его тоже... он вроде как мудрецом прослыл! Как я ненавижу их всех! — прошипел сквозь зубы эмир, засовывая в рот кат, привезенный ему специально из Йемена. После приема пищи Саид стал частенько жевать кат, который, по его словам, успокаивал.

Валид вернулся с павлином в клетку в сопровождении старика Тарика. Саид посмотрел раздраженно на павлина, а тот опустил голову и клевал дно клетки. Эмир Саид в этот момент подумал, что, действительно, этот павлин похож на курицу, которую хорошо бы ошпарить и поджарить. «Жареного павлина я еще не ел!» — подумал он и усмехнулся этой своей мыслью.

— Так, перескажи Тарику вкратце то, что ты мне поведал, и подсчитай, сколько перьев у павлина в хвосте. Можешь прямо выдирать! Все равно зажарим его, раз он почти что курица!

Валид все пересказал в подробностях Тарику, выдирая перья из хвоста павлина. Павлин визжал от боли, но Валид все равно выдирал перья, прижав голову птицы к клетке.

— 21 перо, мой господин!

— Так, когда он подарил мне павлина, этот колдун?

— Уже 24 дня тому назад!

— Ха, значит, я должен был бы умереть три дня назад! Слышишь, Валид? Что скажешь на это, Тарик? Давай этого павлина зажарим и съедим, ты никогда не ел жареного павлина?

— Не стоит, мой эмир! — ответил Тарик! — Не стоит с дарами так обращаться! Отдай его мне, я буду за ним ухаживать!

— Ишь, чего захотел! Хочу жареного павлина! — сказал Саид, облизывая кончиком языка губы и предвкушая наслаждение от мяса павлина.

— О, эмир! Не вели казнить, но вели миловать! — внезапно сказал старик Тарик.

— Что на этот раз придумал, мудрец?

— Я прошу помилования до того, как скажу! Если велишь миловать, то вели и говорить!

— Говори, ладно... Помилую! — ехидно проговорил Саид и добавил, встретив серьезный взгляд старика: — Помилую! — Саид всмотрелся в лицо Тарика, и ему показалось, что перед ним сидит не старик, а человек с гладким лбом без морщин, у которого хвост павлина весь горит. «От ката меня что-то развезло!» — подумал он.

— Ты не сын своего отца!

— Что ты говоришь?! — подскочил с места Саид, схватившись за свой кинжал.

— Но эмир велел миловать, а слово эмира нельзя нарушать! — с уверенностью в голосе сказал старик. — Иди и спроси у своей матери!

— Я законный эмир! Мой отец был эмиром до того, как отец Надира, а затем НаDIR сменил его! Я должен был быть вместо Надира! Вот что!

Саид выбежал из шатра и направился к шатру своей матери. Вбежав во внутренние покои, он схватил ее за плечо и приставил нож к горлу:

— Говори, кто мой отец?! А не то прикончу тебя!

— Откуда ты узнал?... — спросила мать с ужасом в глазах. — Вели миловать, и я все расскажу!

— Говори же! А не то убью, хоть ты и моя мать!

— Твой отец... Вернее тот, кого ты считаешь своим отцом, — бесплоден. Он не мог и не может иметь детей! Мне пришлось лечь с поваром только для того, чтобы сохранить власть в нашей семье и не передавать ее Фатиме! Этой жалкой монашке, которая украдала у меня его!

— Кого его? — попятился назад Саид, опустившись на колени.

— Салима абу Надира! Отца Надира, того, кого я любила всегда! Я должна была стать его невестой, но он женился на Фатиме, этой стерве, которая жила в монастыре! Я ему говорила...

— Почему он не взял вас обеих? — почти шепотом произнес Саид.

— Она, видишь ли, христианка, и у них нельзя иметь несколько жен!

— И он позволил женщине себя контролировать?

— Он даже не стал со мной разговаривать! И я вышла замуж за его брата! Ему назло! А ему все равно!

— О, Аллах! Что происходит? Почему?... Если отец мой бесплоден, то от кого ты родила мою сестру? От повара?

— Нет, от Абу Самира, которого ты казнил. — сказала его мать и разрыдалась.
 — Ты его любила?
 — А что мне было делать? Вдове, потерявшей своего возлюбленного, а затем мужа?
 — Ну, ты и дрянь! — прошипел Саид и одним ударом отсек своей матери голову.

Весь в крови он выбежал на улицу, слезы застилали ему глаза... В беспамятстве он побежал в пустыню и больше не вернулся.

Тарик сидел в это время с Валидом в шатре эмира. Они еще не знали, что произошло. Тарик засунул руку во внутренний карман и вытащил оттуда три павлиньих пера. Валид с ужасом посмотрел на них, и странное предчувствие пронзило его. Тарик бросил первое перо на угли, затем второе, затем третье. Три пера сгорели.

— Свершилось! — произнес Тарик, но не своим старческим голосом с акцентом чужака, а молодым и каким-то знакомым голосом. Дрожь пробежала по спине Валида, он что-то понял.

Тарик посмотрел ему прямо в лицо, и он увидел, что лицо путника не похоже на старческое — на нем нет ни одной морщины. Затем Тарик сильно дернул свою седую бороду, и она отвалилась. Валид узнал эмира Надира. Глаза слуги наполнились слезами, он упал на колени перед Надиром и стал молить о пощаде.

— Встань, Валид! Я знаю, ты не участвовал в заговоре против меня! Но те, кто окружали Саида и творили зло, те достойны наивысшего наказания. Сколько их?
 — Господин, их много! Саид перебил всех твоих сторонников и сторонников твоего дяди Касима!
 — Не беспокойся! Вывеси над шатром золотое знамя. Если спросят, кто велел и что оно означает, ответь: это знамя в честь эмира Надира!
 — Но они убьют тебя, мой эмир!
 — Делай, что я говорю, и не переживай!

Как только Валид вывесил золотое знамя, город наполнился всадниками в белых одеяниях, которые со скоростью ветра окружили все шатры и взяли в заложники всю охрану Саида.

— Кто это? — спросил Валид и увидел, что во главе всадников стоит дядя Надира — Касим.
 — Это все, кто остался верен правде.
 — А что будет с охраной Саида?
 — Всех казнят на окраине лагеря.
 — Мой господин! Вели и меня казнить! Я не достоин чести оставаться в живых!
 — Нет, Валид! Я не знал, чего ты стоишь, и должен был еще раньше дать тебе то, что ты заслужил!
 — Спасибо, мой эмир! О, Аллах! Спасибо Тебе! У меня есть один вопрос. Я не понимаю, откуда ты узнал, что Саид не сын своего отца?
 — Я этого не знал. Но настоящий эмир, ценящий способности своего слуги, не награждает его двойным или тройным пайком, он повышает его по званию и по заслугам!
 — Воистину, Аллах справедлив! Сын эмира остается эмиром!

Эта удивительная история о том, как эмир раскрыл заговор против себя и обличил заговорщиков, осталась в памяти благодаря записям Валида. Он оставил после себя много книг и много диковинных историй и вещей описал в них. Но многое было унесено течением реки Тигр, наполнившейся черным цветом скорби, когда монголы опустошили Багдад. И теперь эти истории можно услышать только в журчании Тигра, когда полная луна блестит золотым светом в память о возвращении настоящего эмира. —

От редакции. В № 1 «Четок» за 2007 г. (С. 79–82) была допущена ошибка: автором стихов на татарском языке была названа Диляра Сулейманова. Подлинным же автором стихов является казанская поэтесса Юлдыз Миннуллина. Редакция приносит свои извинения Юлдыз Миннуллиной, Диляре Сулеймановой и читателям.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МАРДЖАНИ ГОТОВИТ К ВЫПУСКУ В 2009 Г. СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:



Средневековая арабо-мусульманская философия в переводах А.В. Сагадеева: В 3 т. Т. 1. Ал-Кинди. Т. 2. Бахманйар. Т. 3. Ибн-Баджжа. 2-е изд., доп. М., 2009.

В представленной работе даны переводы сочинений известных арабо-мусульманских философов эпохи Средневековья, осуществленные профессором А.В. Сагадеевым, который известен не только как крупный историк-философ, но и как авторитетнейший переводчик. Изучению проблем арабо-мусульманской философии он посвятил около 50 лет своей творческой жизни, и все это наиболее широко и полно представлено в данной

работе. Данная книга будет полезна не только специалистам в области арабо-мусульманской философии, но и всем интересующимся историей восточной мысли. Составитель и автор вступительной статьи — доктор философских наук, профессор Н.С. Кирабаев.



Мейсам Мухаммед Аль-Джанаби. Теология и философия ал-Газали. Изд. 2-е. М., 2009.

Труды Абу Хамида ал-Газали (1058–1111), которого благодарные современники называли «оживителем веры» и «доводом ислама», представляют собой не только неотъемлемую часть духовного наследия мира ислама, но и одну из основ, один из источников самосознания человечества. В процессе эволюции личности ал-Газали и его идей отразились не только достижения культуры халифата, но и судьба античной интеллектуальной традиции, итоги ее осмысления за те пять веков, которые предшествовали созданной им всеохватной идейной системе.

Автор предлагаемого читателю исследования удачно совмещает в своей работе академическую фундированность и погруженность в изучаемую им культурную традицию.



А.Г. Селезнев, И.А. Селезнева, И.В. Белич. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М.: Изд. дом Марджани, 2009.

В работе как объект этнологического изучения рассматривается культ святых в сибирском исламе, прежде всего у тоболо-иртышских татар. Проанализированы основные составляющие данного культа: почитание святых исламских подвижников, институт мусульманских святых-лиц, представления об общеисламских персонажах, органично включенных в локальную религиозную традицию. Выявляются общие и

особенные черты в функционировании культа, диалектическое взаимодействие универсальных и регионально-специфических его элементов. Прослеживается влияние суфизма на формирование религиозного комплекса сибирских мусульман.

В научный оборот вводится полевой этнографический и фольклорный материал.

Книга рассчитана на историков, этнографов, культурологов, религиоведов и всех интересующихся данной проблематикой.

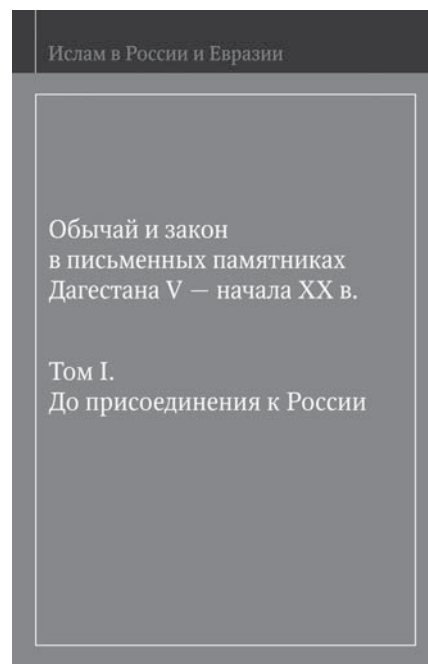
ВЫПУЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ:

**А.В. САГАДЕЕВ. ВОСТОЧНЫЙ ПЕРИПАТЕТИЗМ.
М.: ИЗД. ДОМ МАРДЖАНИ, 2009.**



Читателю предлагается фундаментальное исследование выдающегося российского арабиста, философа и историка Артура Владимировича Сагадеева (1931–1996). Эта работа стала итогом многолетних авторских изысканий в области средневековой арабской философии (фалсафа). Перед читателем открывается многоплановая, четко детализированная картина взаимодействия различных культур Средиземноморья и Ближнего Востока — арабской, иранской, эллинистической, древневосточных культур. Ислам смог объединить все эти культуры, не уничтожая их самобытности. Он открыл широкие возможности не только для собственно религиозного спекулятивного философствования, но и для рационалистической философии, представленной прежде всего именами ал-Кинди, ал-Фараби, Ибн Сины, Ибн Рушда и прочими менее известными авторами. Именно это направление восприняло колоссальное наследие древнегреческой философии и науки, обогатило и углубило их, трансформировало в условиях новой эпохи, радикально отличной не только от Античности, но и от современных ей западноевропейской и византийской традиций.

**ОБЫЧАЙ И ЗАКОН В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ
ДАГЕСТАНА V — НАЧАЛА XX В. Т. 1: ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К РОССИИ / СОСТ. И ОТВ. РЕД. В.О. БОБРОВНИКОВ. М.: ИЗД.
ДОМ МАРДЖАНИ, 2009.**



Книга представляет сборник переводов с арабского, тюркских и кавказских языков важнейших памятников обычного права Северо-Восточного Кавказа V–XX вв. В первый том вошли договоры и нормативные акты от эпохи раннего Средневековья до Нового времени, сохранившиеся в эпитафийке, хрониках и памятных записях из Дагестана. Среди них каноны царя Кавказской Албании Вачагана Благочестивого (488), «Завещание Андуника» (1485), соглашения и судебники XVII–XIX вв. общин и конфедераций горцев Гидатля, Андалал и проч. Все переводы, включая работы классика дагестанской арабистики М.Д. Саидова, публикуются в уточненном и дополненном виде, снабжены историко-этнографическими комментариями. Тексты источников предваряет теоретический раздел, в котором собраны исследования по истории правового обычая на Кавказе и в Дагестане с V по середину XIX в. В книге воспроизведены факсимиле оригиналов важнейших восточных источников, карты и аннотированная библиография по дагестанскому адату.

**МАРДЖАНИ О ТАТАРСКОЙ ЭЛИТЕ (1789–1889) / ПРЕД.
И ВСТУП. СТ. ДОКТОРА ФИЛОСОФСКИХ НАУК А.Н. ЮЗЕЕВА.
ПЕР. А.Н. ЮЗЕЕВА, И.Ф. ГИМАДЕЕВА. М.: ИЗД. ДОМ МАРДЖАНИ,
2009.**



Издание включает научную биографию известного татарского мыслителя Шихабедина Марджани (1818–1889), подборку переводов из его сочинения «Мустафад алахбар» (автобиография Марджани, биографии первых татарских муфтиев, кади Оренбургского духовного собрания мусульман, глав Казанской татарской ратуши) и перевод «Рихлат ал-Марджани» — путевых заметок о хадже Марджани. Книга адресована историкам, востоковедам и широкому кругу читателей, всем кто интересуется вопросами истории и культуры российских мусульман.

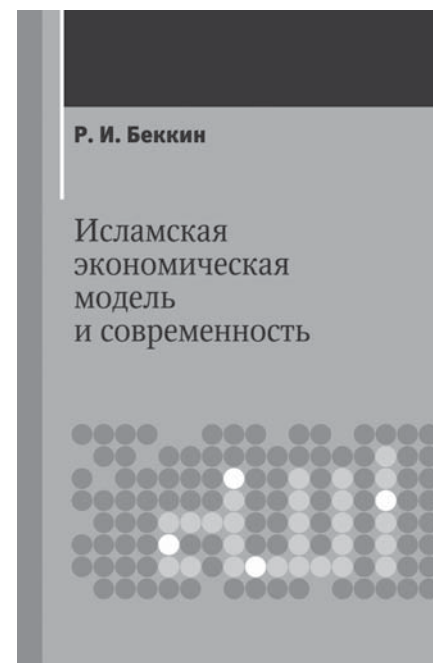
**ИСЛАМ В ЕВРОПЕ И В РОССИИ: СБ. СТ. / СОСТ. И ОТВ. РЕД.
Е.Б. ДЕМИНЦЕВА. М.: ИЗД. ДОМ МАРДЖАНИ, 2009.**



Исследования, посвященные появлению, распространению и современному состоянию ислама как на территории стран Западной Европы, так и на всем пространстве России, представляют интерес не только для специалистов, занимающихся данной тематикой, но и для всех тех, кто интересуется политическими, социальными, культурологическими процессами, происходящими в мире на сегодняшний день. Несмотря на разницу подходов европейских и российских авторов к представленной теме, сборник отвечает поставленной задаче — с разных ракурсов осветить процессы, связанные с мусульманскими сообществами, происходящие в странах, где проживает немусульманское большинство.

Статьи, составляющие эту книгу, знакомят читателя не только с проблемами мусульманских сообществ, актуальными на сегодняшний день, но и с теми научными методами, которые используют авторы при их анализе.

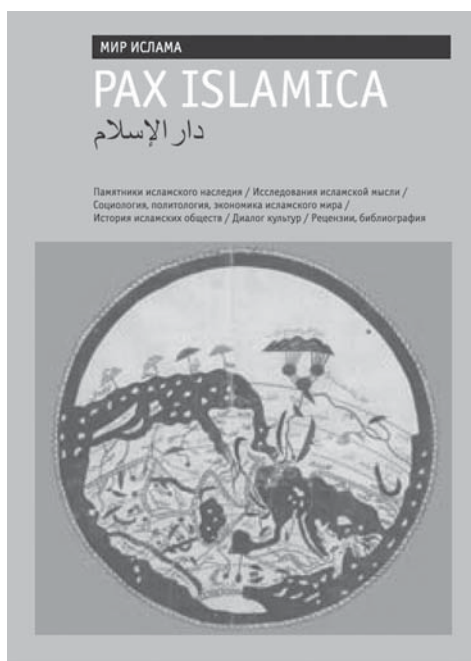
**Р.И. БЕККИН. ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
И СОВРЕМЕННОСТЬ. М.: ИЗД. ДОМ МАРДЖАНИ, 2009.**



Фундаментальный труд российского исламоведа Р.И. Беккина посвящен теоретическим и практическим аспектам исламской экономической модели. Книга вносит серьезные коррективы в представления о том, что существующей мировой финансовой системе нет альтернативы.

В монографии представлен детальный анализ исламской экономики и ее отдельных институтов на современном этапе. Книга адресована ученым, преподавателям, студентам, представителям бизнес-сообщества, а также всем, кто интересуется экономической проблематикой.

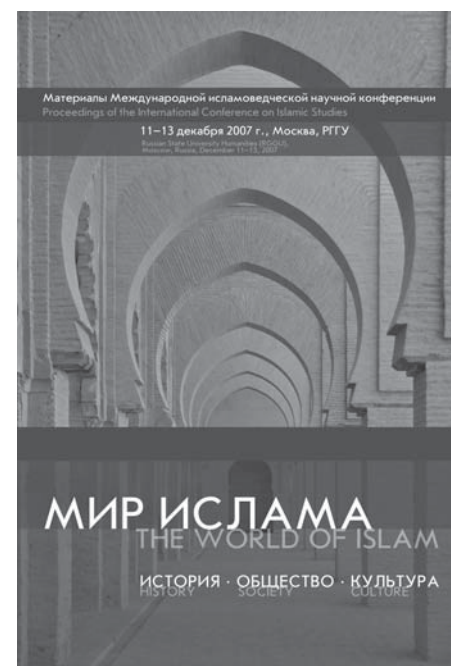
НАУЧНЫЙ ИСЛАМОВЕДЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ PAX ISLAMICA — МИР ИСЛАМА



Первый в России опыт независимого научного издания, посвященного проблемам изучения ислама, истории и культуры мусульманских обществ. Важно, что попытка такого издания предпринята не официальными академическими или университетскими кругами, а группой свободных исследователей, объединившихся вокруг Фонда Марджани — некоммерческой благотворительной организации, осуществляющей поддержку научных исследований и культурно-просветительских проектов, связанных с изучением и популяризацией историко-культурного наследия исламской цивилизации. Альманах направлен в равной степени на изучение «классического» и современного ислама. Особое внимание уделяется изучению ислама в России. Pax Islamica на латыни означает «исламский мир». По аналогии с Pax Romana этот термин первоначально использовался исламоведами для характеристики мусульманского мира в эпоху его наивысшего культурного расцвета. Сегодня, подобно политологическому Pax Americana, обозначающему американский «новый мировой порядок», Pax Islamica представляет собой метафору исламской цивилизации как таковой в ее историческом, культурном, социальном и политическом аспектах.

Альманах выходит 2 раза в год.
Главный редактор — А.Ю. Хабутдинов
Электронный адрес журнала: www.paxislamica.ru

МИР ИСЛАМА: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА: МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИСЛАМОВЕДЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 11–13 ДЕКАБРЯ 2007 Г., МОСКВА, РГГУ. М.: ИЗД. ДОМ МАРДЖАНИ, 2009.



Сборник включает в себя материалы докладов международной конференции «Мир ислама: история, общество, культура» (Москва, 11–13 декабря 2007 г.). Тематика статей охватывает широкий круг проблем, связанных с различными аспектами истории, культуры и современного социально-политического развития мусульманских обществ. Издание адресовано специалистам — историкам, этнографам, политологам, востоковедам, а также широкому кругу читателей, интересующихся исламом, прошлым и настоящим мусульманского мира.

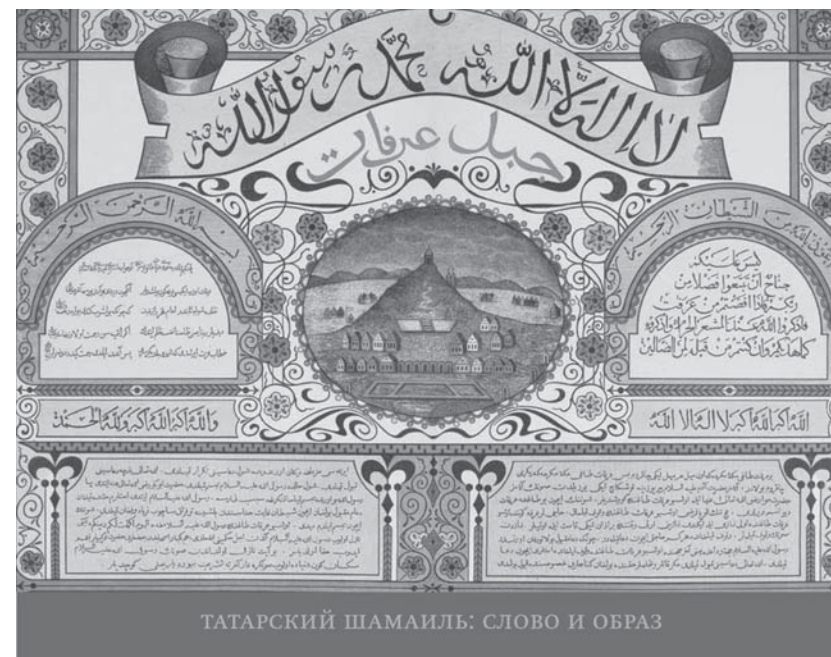
ИСТОКИ И ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ: СЕРИЯ «ИСКУССТВО ТЮРКСКОГО МИРА». ВЫП. 1. КАЗАНЬ, 2009.



В сборник «Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов», который открывает серию «Искусство тюркского мира», вошли материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения педагога-просветителя, художника Ш.А. Тагирова (1858–1918), которая стала первым научным форумом по проблемам искусствознания в тюркском мире на современном этапе. Конференция была проведена 17–18 апреля 2008 г. в Казани Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

В материалах рассмотрены следующие аспекты художественной культуры тюрков: изобразительное и декоративно-прикладное искусство, архитектура, театрально-музыкальное искусство, перспективы художественного образования и эстетического воспитания.

**ТАТАРСКИЙ ШАМАИЛЬ:
СЛОВО И ОБРАЗ. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ.**



Аннотированный каталог к выставке «Татарский шамайль: слово и образ. Искусство каллиграфии» (Москва, 24 апреля — 15 июня 2009) представляет основные вехи истории искусства татарского шамаиля. Он включает старинные шамаиля, выполненные на оборотной стороне стекла, печатные шамаиля, получившие распространение в Казани на рубеже XIX–XX вв., а также работы профессиональных художников, обратившихся к этому традиционному искусству в наши дни. Каталог сопровождается статьями, посвященными происхождению, типологии, символике и месту этого вида искусства в культуре народов Поволжья. Представляет интерес как для искусствоведов, так и для широкого круга читателей.



Проект реализован «Издательским домом Марджани» при поддержке «Фонда Марджани с целью сохранения культурного наследия народов Евразии, развития сотрудничества в области науки, образования и культуры, укрепления дружбы и взаимопонимания между разными народами.

Перевод с татарского: Алена Каримова, режиссер-постановщик: Максим Осипов, композитор: Айдар Гайнуллин, художественный руководитель проекта: Петр Банков.

Альбом и книгу можно приобрести в сети магазинов ОАО «МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ» по адресам:

- Ул. Новый Арбат, дом 8 (м. Арбатская)
Телефон: (495) 789-35-91;
- «Дом книги в Бескудниково»: Бескудниковский бул., 29/1
Телефон: (495) 488-25-02;
- «Дом книги на Ленинградке»: Ленинградское ш., 40
Телефон: (495) 159-78-74;
- «Дом книги на Ленинском»: Ленинский пр-т, 86
Телефон: (499) 138-00-67;
- «Дом книги в Отрадном»: Алтуфьевское ш., 34-а
Телефон: (495) 401-39-55;
- «Дом книги на Соколе»: Ленинградский пр-т, 78/1
Телефон: (495) 152-45-11;
- «Дом книги на Сретенке»: ул. Сретенка, 9
Телефон: (495) 625-71-51
- И в интернет-магазине на сайте: www.mdk-arbat.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ЧЁТКИ»

Оформите подписку в редакции журнала.

Стоимость подписки в редакции (включая стоимость доставки): за один номер — 150 р. Стоимость подписки на год — 600 р.

Оплатив квитанцию (находится на обороте), необходимо выслать ее в редакцию удобным для Вас способом вместе с заполненным купоном. Оплаченная квитанция является документом о подписке.

Подписной купон журнала «Чётки» на № 1 2007 г., № 1 2008 г., №№ 1–4 2009 г.

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____ Желаю подписаться на получение: В количестве _____ экз.	Мой адрес: Индекс: _____ Страна: _____ Город: _____ Область: _____ Улица: _____ Дом: _____ корп. _____ кв. _____ (Заполните печатными буквами)						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">1 (2007 г.)</td> <td style="width: 16.6%;">1 (2008 г.)</td> <td style="width: 16.6%;">1 (2009 г.)</td> <td style="width: 16.6%;">2 (2009 г.)</td> <td style="width: 16.6%;">3 (2009 г.)</td> <td style="width: 16.6%;">4 (2009 г.)</td> </tr> </table>	1 (2007 г.)	1 (2008 г.)	1 (2009 г.)	2 (2009 г.)	3 (2009 г.)	4 (2009 г.)	
1 (2007 г.)	1 (2008 г.)	1 (2009 г.)	2 (2009 г.)	3 (2009 г.)	4 (2009 г.)		
Номера(ов) журнала (выбранные зачеркнуть)							

	Получатель: Форма № пд-4 ООО «Издательский дом Марджани» ИНН7736557629 В филиале «Гостиный Двор» КБ «Рублевский». г. Москва, БИК 044552218 Расчетный счет № 40702810700000003047 Кор. счет № 30101 810400000000218									
	Фамилия И.О., адрес плательщика									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%;">Вид платежа</th> <th style="width: 15%;">Дата</th> <th style="width: 20%;">Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оплата подписки на журнал «Чётки»</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Вид платежа	Дата	Сумма	Оплата подписки на журнал «Чётки»					
Вид платежа	Дата	Сумма								
Оплата подписки на журнал «Чётки»										
ИЗВЕЩЕНИЕ	Получатель: ООО «Издательский дом Марджани» ИНН7736557629 В филиале «Гостиный Двор» КБ «Рублевский». г. Москва, БИК 044552218 Расчетный счет № 40702810700000003047 Кор. счет № 30101 810400000000218									
	Фамилия И.О., адрес плательщика									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%;">Вид платежа</th> <th style="width: 15%;">Дата</th> <th style="width: 20%;">Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оплата подписки на журнал «Чётки»</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Вид платежа	Дата	Сумма	Оплата подписки на журнал «Чётки»					
Вид платежа	Дата	Сумма								
Оплата подписки на журнал «Чётки»										